

ЧУЖОЙ МИР. ЧУЖИЕ ПРАВИЛА. ОДНА ЦЕЛЬ.
ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ.

СКОРО БУДУ
ДОМА
Том IV
ПРЕДЕЛ

Тёмное фэнтези • попаданцы • LitRPG

ADAM WALKER

Adam Walker

Скоро буду дома. Том IV - Предел

«Автор»

2026

Walker A.

Скоро буду дома. Том IV - Предел / A. Walker — «Автор», 2026

Адам наконец знает, где искать дорогу домой. Путь ведёт в Предел — мёртвую землю, где привычные законы мира перестают работать, а каждый следующий шаг может оказаться последним. Чтобы добраться до его сердца, Адаму придётся провести людей через место, созданное словно для того, чтобы никого не пропустить. Рядом остаются Кассия и верные спутники, но чем ближе цель, тем тяжелее становится путь и тем опаснее тайны, которые Адам скрывает даже от друзей. Он слишком долго повторял себе: «Скоро буду дома». Теперь дом кажется ближе, чем когда-либо. Но Предел не отдаёт своих секретов бесплатно, и одной силы может оказаться недостаточно.

© Walker A., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Наверх	6
Груша	8
Кольцо	10
Рейнар	12
Глава 2. Правда королю	14
Глава 3. Путь в Грейфолл	20
Глава 4. Школа	25
Девочка	29
Глава 5. Отдача ловушки	32
Глава 6. Щит	36
Глава 7. Ведьма	40
Костыли	41
Осмотр	42
Кассия	46
Глава 8. Трещина	47
Глава 9. Выбор Рейнара	50
Глава 10. Первый удар	55
Глава 11. Отпустить	59
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Adam Walker

Скоро буду дома. Том IV - Предел

СКОРО БУДУ ДОМА

Том IV. Предел

ADAM WALKER

Глава 1. Наверх

Первые дни дома я учился заново простым вещам.

Спать в кровати, а не вполглаза на камне. Есть, не считая, сколько осталось воды во фляге. Просыпаться и не тянуться сразу к клинку, потому что над головой не свод яруса, а потолок нашей спальни.

Дом был наш. Тот самый, который Кассия заставила меня купить прошлой осенью — «я не замуж тебя зову, я зову тебя спать на кровати, которую не выдал дворецкий». Два этажа, узкий фасад, кривоватая лестница, окна на восток.

Первое утро этого мира я встретил под открытым небом, на мху, в своей же одежде — в той, в которой вышел из дома, — оглушённый, не понимая ещё, что умер. Очень долго потом я просыпался так, будто это может повториться.

А теперь надо мной был потолок, и я знал на нём каждую трещину.

Странно, как быстро чужое становится своим, когда больше некуда идти.

Колодец нас отпустил. Это надо было осознать, и осознавалось оно медленно, как отходит отмороженная рука: сначала ничего, потом покалывание, потом боль, потом — чувствительность. Мы вернулись с самого дна. Я говорил с тем, кто отвечает за этот мир. И теперь мы оба знали то, чего не знал ни один человек под здешними двумя лунами: зачем всё, и что убивает мир, и где лежит дорога домой.

И первые дни мы просто жили, потому что тел, вернувшихся с той глубины, надолго не хватает на большее.

* * *

Кассия отсыпалась.

Я не видел её спящей так с самого начала нашего знакомства — она всегда просыпалась раньше меня, собранная, с ясными глазами, будто и не ложилась. А тут спала по-настоящему, тяжело, глубоко, отдав наконец телу долг, который копился месяцами спусков.

Я смотрел на неё по утрам — на пепельные волосы на подушке, на лицо без обычной сторожевой готовности — и заново, каждый раз заново, понимал, что она жива.

Что рана, которую я видел на дне сорок девятого яруса, — та, от которой не выживают, — закрыта.

Что Создатель нарушил ради неё своё тысячелетнее правило.

Я не рассказал ей об этом. Про правило. Про то, что бог не имел права её лечить и всё равно вылечил, потому что не смог смотреть, как она уходит, а я держу и не могу удержать.

Я решил, что расскажу когда-нибудь потом. Есть вещи, которые нельзя нести человеку сразу: они слишком тяжёлые, под ними надо сначала выстроить опору.

А сам я не спал.

То есть спал — телу деваться некуда, — но не так, как раньше. Раньше сон был провалом: закрыл глаза, открыл, утро. Теперь я лежал в темноте и слушал.

Слушал тишину.

* * *

Вот что было самым странным и самым тревожным в этом возвращении.

Тьма за моими рёбрами — та, что сидела во мне с провала, что звала меня родней в каждой капле чёрной воды, ту, что на сорок девятом сорвало вместе с дверью, с петлями, со стеной, — тьма молчала.

Не была заперта. Не приглушена упражнением Велиссы. Молчала — ровно, полно, как молчит зверь, который наелся и уснул. Я приоткрывал засов ночами, осторожно, на палец, — и не слышал ничего. Ни гула. Ни ритма шагов. Ни слова «ближе», которое почти три года было фоном моей жизни, как шум крови в ушах.

Первые ночи я думал, что это счастье. Что дно что-то во мне выжгло, что я вернулся чистым, что кошмар кончился.

Потом понял: так не бывает.

Тьма не ушла. Я чувствовал её — она была на месте, тёплая, тяжёлая, своя. Она просто молчала.

А молчит зверь по двум причинам: когда его нет и когда он ждёт.

Моего зверя не могло не быть — я дрался им на дне, я вывел им нас из тьмы сорок второго яруса, он был частью меня прочнее, чем рука.

Значит, второе.

Он ждал. И я, кажется, знал чего.

* * *

Груша

Я думал о груше.

Странно было думать о ней здесь, за семьсот вёрст, в каменном городе, где под окном мостовая, водосток и чужая стена в трёх шагах.

Но я думал.

Кассия посадила её прошлой весной, у южной стены баронского дома, и это был тонкий прутик с мешковиной на корнях, и я, честно говоря, не верил, что он приживётся. Она сказала: приживётся. Она сказала это так, как говорят про уже решённое.

Прошлой осенью, когда мы были там в последний раз, из прутика вышло деревце — мне по грудь, с крепким стволиком и тёмными глянцевыми листьями.

Плодов на нём не было. Не могло быть.

— Лет через пять будут груши, — сказала тогда Кассия, стоя рядом и щурясь на солнце. — Проверять приезжай лично. Каждую весну.

Я сказал: приеду.

* * *

Я стоял теперь у окна столичного дома, смотрел на мокрую черепицу напротив и считал. Пять лет.

Через пять лет меня здесь не будет. Ни через пять, ни через четыре, ни, если всё пойдёт как надо, через год. Дорога, которую открыл мне Создатель, ведёт домой — а дом мой не здесь и никогда здесь не был.

Значит, я не увижу ни одной груши с этого дерева.

Значит, я уже соврал ей — тогда, стоя под ним, говоря «приеду».

Я не знал в ту минуту, что вру. Но это ничего не меняет. Тот, кто обещает приезжать каждую весну, и тот, кто уходит навсегда, — два разных человека, и второй в тот день уже стоял внутри первого и молчал.

Я думал: как удобно, что мы посадили её в Грейфолле.

Что мне не надо смотреть на неё каждое утро.

* * *

А потом я попробовал вспомнить, было ли хоть одно дерево у нашего дома там, на Земле. И не смог.

Мы жили в квартире. Это я помнил твёрдо: пятый этаж, лифт, площадка, дверь. Я выходил утром, шёл к лифту, спускался, садился в машину. Двора у нас не было — то есть был, конечно, какой-то двор внизу, с машинами и качелями, общий, ничей. Росло там что-нибудь? Тополя? Клёны? Была ли под окнами хоть одна ветка, на которую можно смотреть из кухни?

Я честно, изо всех сил, пытался увидеть свой земной двор — и не видел ничего. Пустое место. Серое пятно там, где должна быть картинка.

Вот это меня и напугало.

Не то, что забыл, — забыть можно многое.

А то, что на месте забытого что-то уже стояло.

Потому что, пробуя вспомнить вид из кухонного окна на Земле, я поймал себя на том, что вижу вот эту мокрую черепицу. Эту водосточную трубу. Этот чужой карниз в трёх шагах.

Моя память, не найдя нужного, услужливо подставляла ближайшее — то, что под рукой, то, что вижу каждый день.

Она затирала Землю Вэйлмором.

* * *

Я не забыл их. Я знал, что не забыл: имя жены, лицо сына, восемь лет, кольцо на шнурке под рубахой.

Но за три года я ни разу — ни разу — не заставил себя сесть и вспомнить по-настоящему. Подробно. С мелочами. С тем, какого цвета была плитка на нашей кухне и что стояло на подоконнике.

Я не забывал. Я **отворачивался**.

Так проще идти. Так вообще возможно идти: назвать три слова — Мира, Лео, дом — и нести их, как несут иконку, не разглядывая. Разглядишь — и уже никуда не пойдёшь, сядешь и завоешь.

И вот теперь, в чужом каменном городе, я стоял и понимал, что за три года память моя их не сохранила.

Она их **законсервировала**.

И пока я шёл, консервы понемногу портились.

Что Лео, которого я помню трёхлетним, с башней из кубиков на полу гостиной, сейчас не трёхлетний. Что Мира... о Мире я не думал совсем, в подробностях, живьём, — я держал в голове икону, имя и лицо, и не позволял себе идти дальше, потому что дальше начиналась боль, с которой нельзя спускаться в Колодец.

Создатель на пятидесятом ярусе отказался сказать, сколько там прошло времени. «Тебе идти дальше, а знать это нельзя».

Я тогда не настаивал: было не до того, была Кассия, живая после смерти, была вся обрушившаяся на меня правда мира.

А теперь, у окна, вопрос вернулся и встал поперёк горла.

Сколько там прошло? Год? Три, как здесь? Больше?

Кто ждёт меня за той дверью — и ждёт ли ещё?

* * *

Кольцо

Была ещё одна вещь, о которой я не сказал никому. Даже Кассии.

Кольцо.

Не то, тёплое, стёртое изнутри до блеска за восемь лет, — то висело у меня на шнурке под рубахой, у самого сердца, и в Колодец я его не брал никогда. Там ему не место.

Другое.

Простой ободок тусклого металла, без камня и без узора. Тёмный, невзрачный, тяжелее, чем кажется. Брун отдал его мне в Грейфолле, в первую зиму, даром — в придачу к большой покупке. Кольцо лежало в плоске со всяким хламом: пряжками, бляшками, обломками.

Брун тогда махнул рукой: «А, дрянь эта. Принёс один искатель **из Предела** с полгода назад. Металл незнакомый, не звенит, не гнётся. Ни на что не годно».

Из Предела.

Я много раз потом возвращался к этой фразе — сказанной мимоходом, в дымной кузне, человеком, который сам не понял, что сказал.

Оно было **оттуда**. Оттуда, куда я теперь шёл.

* * *

«Анализ» его не читал.

Не показывал пустоту, как над простым железом. Не выдавал «???», как над слишком сильной тварью.

Он **рябил**. Строчки на краю зрения дрожали и плыли, будто система направлялась не на вещь, а на что-то, чему у неё нет ни мерки, ни слова.

Так же он рябил над провалом.

Так же — я узнал это много позже, и лучше бы не узнавал, — он рябит надо мной.

* * *

Оно спасло меня однажды.

В том первом провале, у самого сердца, когда хозяин взял меня мороком: показал прихожую, жёлтый свет, лицо Миры, голос сына, зовущий «па-па», — и я шёл к ним, счастливый, занеся ногу над чёрной щелью, в которую через шаг ушёл бы весь.

Я не помню, как сунул руку в кошель. Это было не решение. Это была судорога — как хватаются за что попало, падая.

Кольцо обожгло.

Не холодом даже — **ледяным огнём**, болью такой чистой и злой, что морок лопнул, как мыльный пузырь. Прихожая разлетелась в клочья. Вместо тёплого лица жены в полуметре от меня оказалась бледная безглазая морда, а под занесённой ногой — щель.

Меня спас не я сам.

Спасло кольцо.

И в тот единственный миг, пока оно горело на пальце в полную силу, я увидел — не глазами, чем-то другим — то, чего видеть не должен был.

Огромную бледную ткань, протянутую сквозь всё, насквозь. Нити, уходящие в стороны, которых нет. Узлы на нитях.

И себя — узлом.

И таких, как я, было много.

Очень много.

Видение погасло, не оставив ничего, кроме ужаса и одного слова, всплывшего ниоткуда и тут же забытого. Я не вспомнил его до сих пор.

Иногда мне кажется, что я и не хочу вспоминать.

* * *

С тех пор оно молчало.

Лежало в кошеле, тёмное и холодное чуть сильнее, чем положено металлу. Иногда, на самой грани сна, мне казалось, что оно чуть теплеет — отзывается на тьму за моими рёбрами, как отзывается струна на близкий звук. Но проверить это я не мог, а придумывать себе лишнее не хотел.

Один раз оно меня подвело.

Там, внизу, в чёрной воде, когда она позвала по-настоящему — не мороком, а зовом, — я ждал, что оно нальётся холодом и всё прекратится.

Кольцо молчало. Оставалось мёртвым и тёплым.

Потому что это был **не морок**.

Морок — это ложь. Ложь оно рвало.

А тот зов был правдой. Страшной, но правдой: чёрная вода действительно была мне родней, и она действительно меня звала, и в этом не было ни капли обмана.

Против лжи у меня было кольцо.

Против правды — только я сам.

Я запомнил это накрепко. Я и сейчас это помню.

* * *

А теперь — вот что.

Там, на дне, в ту минуту, когда Создатель договорил и луг начал растворяться в свете, — я готов был поклясться, что кольцо в моём кошеле **потеплело**.

Не обожгло. Не налилось холодом, как перед мороком.

Потеплело. Тихо, ровно, как теплеет камень на солнце.

Я решил тогда, что мерещится. Мне было не до кольца: у меня на руках была живая Кассия и целый перевёрнутый мир в голове.

Зря решил.

Потому что здесь, наверху, разбирая вещи после возвращения, я нашёл его в кошеле — и оно было тёплым.

Не как обручальное. Не как живая ладонь. Слабо. Едва-едва.

Но тёплым — то самое кольцо, которое три года было холоднее всего, что я знал. Которое обжигало льдом. Которое рвало морок ледяным огнём.

Я держал его на ладони в тёмной комнате, и оно грело мне кожу, и я не понимал ничего.

Что-то в нём изменилось на дне. Что-то ему там сказали — или в него положили.

Я не знал что. Я убрал его обратно в кошель и постарался забыть.

Но заноза осталась.

Тёплое кольцо из Предела, три года бывшее ледяным, ждало своего часа так же терпеливо, как ждал молчащий зверь за моими рёбрами.

Весь этот мир будто затаил дыхание.

И я вместе с ним.

* * *

Рейнар

Он пришёл на четвёртый день — живой, целый, злой на собственную праздность, с лицом человека, который отлежался ровно столько, сколько смог вытерпеть, и ни минутой больше.

— Ну, — сказал он с порога, оглядывая наш дом хозяйским взглядом, — я вижу, бронза отсыпается, пока королевство гадает, вернулись его герои с того света или всё-таки нет. Красиво. По-господски.

Он звал меня так с первого дня в Грейфолле, когда я был никем и таскал бронзовую бляху ученика. Ни титул, ни золотая пластина, ни дно Колодца этого не отменили. Я думаю, он и на моих похоронах скажет «бронза». И будет прав.

— Заходи, — сказал я. — Кассия наверху, спит. Не буди — она это заслужила сильнее нас двоих.

Он вошёл, сел за стол, и я увидел, что за лёгкостью в нём сидит то же, что во мне.

До луга под невозможным солнцем он не дошёл. На сорок девятом туман накрыл нас всех троих, но к Создателю забрал меня одного. Рейнар очнулся уже наверху, у монумента, рядом с нами: мы с Кассией лежали без сознания, и её рана закрывалась у него на глазах.

Он нёс своё.

— Рассказывай, — сказал он тихо, уже без всякой лёгкости. — Всё. Что там было, на дне. Куда тебя дели. Я очнулся наверху рядом с двумя людьми: один растворился в тумане у меня на глазах, а другая умирала — и вдруг перестала. Я имею право знать.

Он имел право.

Я налил нам обоим и рассказал.

Про луг под невозможным солнцем. Про человека в простой одежде, оказавшегося тем, кого в храмах зовут Создателем. Про семя в сердце Предела, которое пьёт жизнь мира. Про чёрную воду — тьму этого семени. Про Орден, что молится ей, не понимая. Про то, что дорога домой существует и лежит она через поглощение семени. Что спасти этот мир и вернуться к своим — одно и то же движение.

И что цена этого движения мне пока неизвестна, но, судя по тому, как Создатель на меня смотрел, — велика.

Про кольцо я не сказал.

Сам не знаю почему.

* * *

Рейнар слушал молча, не перебивая, и лицо его делалось всё серьёзнее. Когда я закончил, он долго молчал, вертя в пальцах кружку.

— Значит, ты пойдёшь в Предел, — сказал он наконец. Не спросил. — До самого сердца.

— Пойду. Когда наберусь сил. Другого пути домой нет.

— А здесь? — спросил он.

— А здесь, — сказал я, — начинается вторая война. Орден не сможет помешать мне там, куда я пойду, — им туда хода нет. Значит, они будут мешать здесь. Всем, что у них есть. И времени у них ровно столько, сколько я пробуду здесь.

Рейнар кивнул — медленно, как кивают, приняв на плечи вес.

— Значит, будет две войны, — сказал он. — Твоя — в Пределе. И наша — здесь. — Он посмотрел на меня. — И я так понимаю, ты уже прикидываешь, кого куда поставить. У тебя такое лицо. Считающее.

Он знал меня хорошо.

Я действительно считал — с той самой минуты, как понял, что не могу быть в двух местах сразу. В Предел пойду я, и только я: моя тьма проведёт меня там, где тонули все. А здесь нужен кто-то, кому я доверю не спину даже — весь тыл. Весь мир, который я оставляю, уходя.

Я посмотрел на Рейнара — на Светлого Клинка, на человека, который два года дрался со мной плечом к плечу, который на приёме отказался от службы наверху ради того, чтобы идти со мной вниз, — и понял, что самый тяжёлый разговор этого возвращения у меня будет именно с ним.

Потому что на этот раз я должен буду попросить его об обратном.

Остаться. Наверху. Без меня.

Но это был разговор не сегодняшнего дня.

* * *

Сегодня мы просто сидели за столом, двое вернувшихся, и пили, и молчали, и за окном шёл мелкий столичный дождь, и наверху спала Кассия.

— Что будешь делать? — спросил он.

— Отосплюсь. Схожу к Тамму — узнаю, во что он превратил свою мастерскую, пока нас не было. — Я покрутил кружку. — А там начну считать всерьёз. Кого куда. Что успеть.

— А Грейфолл?

— Позже. Кассии нужна будет её песочница, мне — тот дом, груша, тишина. Но это не сейчас. Сейчас всё главное решается здесь, в столице.

Рейнар кивнул и не стал расспрашивать. Он вообще редко расспрашивал — брал, что дают, и ждал остального.

* * *

Затишье. Я снова знал это слово. И на этот раз я его слышал.

Тьма за рёбрами молчала и ждала. Тёплое кольцо из Предела лежало в кошеле и тоже ждало. Где-то на юге Орден делал своё дело — я не знал какое, но знал, что делает, потому что такие не отдыхают. За краем всех миров шло время в доме, которого я почти не помнил.

А передо мной, на расстоянии одного последнего похода, лежало сердце того, что убивало этот мир, — и оно же было моей единственной дорогой домой.

Я допил и поставил кружку.

Пора было вставать. Отдых кончился — я почувствовал это так же ясно, как чувствовал когда-то приближение хозяина яруса. Впереди было слишком много дел для человека, у которого на счету каждый день: две войны, один поход и одно обещание, которое я дал три года назад в другом мире — у двери, натягивая куртку, когда сын висел у меня на шее.

Скоро буду дома.

Впервые за долгое время — почти веря.

Оставалось дойти.

Глава 2. Правда королю

Королю я рассказал всё через два дня после Рейнара — и рассказал в саду.

Это было решение, которое я принял ещё на дне, глядя в спокойное лицо Создателя, и утвердил окончательно на приёме, где познакомился с хранителем королевской почты. Есть вещи, которые нельзя доверить бумаге, потому что бумага в этом королевстве идёт через руки человека по имени Магнус, а Магнус, я знал это твёрдо, хоть и не мог доказать, читал всё, что проходило через почту. И есть вещи, которые нельзя произносить даже в тронном зале, потому что у стен, обитых пурпуром, слишком много ушей, а у придворных, стоящих вдоль этих стен, слишком хорошая память.

Правду о том, как устроен мир и где лежит дорога домой, я не собирался отдавать ни бумаге, ни стенам.

Поэтому я попросил короля о прогулке. Не об аудиенции — о прогулке, вдвоём, в дальней части королевского сада, где нет живых изгородей, за которыми можно спрятаться, где садовники держатся поодаль, а гвардия стоит кольцом на таком расстоянии, что видит, но не слышит. Король понял меня с полуслова — он вообще понимал меня с полуслова, это я оценил ещё год назад, — и назначил прогулку на следующее утро, никого не предупредив о её цели.

Мы шли по дорожке между голых пока клумб — весна в столице отставала от нашей груши, — и я говорил, а король слушал, заложив руки за спину, глядя себе под ноги. Я знал за ним эту манеру: он думал не лицом, а спиной и шагом. По тому, как менялась его походка, я мог сказать больше, чем по любому выражению лица.

Я рассказал ему то же, что Рейнару, только полнее и суше — по-деловому, как докладывают государю, а не как говорят с другом за кружкой. Про луг. Про Создателя, оказавшегося тем тихим служителем, что подсел ко мне когда-то в храме. Про семя в сердце Предела — не растение, не камень, а нечто, опущенное в мир некой силой, чтобы пить его жизнь. Про то, что мёртвая язва Предела, которой пугают детей на фронтире, — это место, где семя выпило землю досуха, и что язва расползается, год за годом, и мир медленно умирает.

Про то, что Колодец — не природная бездна и не кара богов, а кузница. Что Создатель построил его своими руками, чтобы люди спускались, дрались, становились сильнее — поколение за поколением, — пока однажды кто-то не станет достаточно силён, чтобы пройти все пятьдесят ярусов, вернуться наверх, пересечь мёртвую землю и добраться до сердца Предела. Что сам Создатель вырвать семя не может: прямое вмешательство бога в мир разорвёт этот мир быстрее, чем спасёт. Что это должен сделать кто-то живой. Изнутри. Своей рукой.

И ещё я сказал ему то, до чего додумался сам, уже наверху, — и, говоря, впервые услышал, как это звучит вслух.

— Ваше величество, в первую неделю в этом мире мне объяснили одну вещь, которой я тогда не понял. Магистр Кесс, покойный, сказал мне: «Предел — не прибыль. Предел — это рана». Он говорил про землю за Грейфоллом, про Дикий Предел, где дыры рождаются чаще, чем где-либо на свете, и никто не знает почему. Гильдия триста лет считает это невезением. — Я посмотрел на короля. — Это не невезение. Дыры рождаются там чаще, потому что отсюда начинаются корни семени. Оно и есть причина. Дикий Предел — внешняя кромка раны, ваше величество. Люди живут над её корнями и не знают об этом.

Король остановился.

— И вы, — сказал он медленно, — очнулись именно там.

— Именно там, — сказал я. — В лесу Дикого Предела, в трёх днях ходу от Грейфолла. Без вещей, в одной своей одежде, и — вы знаете это, ваше величество, я не делал из этого тайны перед вами, — родом не из вашего мира вовсе. Меня выбросило сюда из другого места, у внешнего края раны, как выяснилось. — Я усмехнулся, хотя смешно не было. — Я три года

ломал голову, зачем меня сюда занесло. А занесло меня, похоже, просто туда, где мир тоньше всего протёрт. В трещину, проеденную семенем. Я не избранный, ваше величество. Я — сквозняк, задутый в самую большую щель этого мира.

Король слушал и молчал, и шаг его был ровный, размеренный, слушающий.

А потом я рассказал ему то, чего не говорил ещё никому, кроме Рейнара, и что королю знать было важнее всего.

— Никто не дошёл, ваше величество, — сказал я, — потому что на тридцать четвёртом ярусе Колодец подошёл слишком близко к корням семени. То, что искатели зовут чёрной водой, — это тьма семени, и на тридцать четвёртом она выступает прямо из стен, как выступает вода, когда копают колодец и попадают в жилу. Дальше не проходил никто. Не потому, что там сильные твари, — потому что там начинается она. Зовёт, сводит с ума, вбирает в себя. Самые сильные тонули первыми, потому что уходили дальше всех.

— А вы, — сказал король. Это были первые его слова за долгую четверть часа.

— А я прошёл, потому что во мне уже есть её кусок. Тьма, которую вы видели однажды в моих глазах. Она пришла в меня через тот же провал, что забросил меня в ваш мир, и она — родня семени. Меня чёрная вода не может выпить досуха: я сам наполовину из того, что в ней течёт. Это моё проклятие почти три года. И это же — мой ключ. Я единственный, кто может войти в сердце Предела и не утонуть.

Король остановился. Впервые за всю прогулку. Повернулся ко мне — и я увидел, что он понял, куда я веду, раньше, чем я договорил. Он был неглуп, этот король. Он был очень неглуп, и потому лицо у него сейчас было такое, какого я у него не видел.

— Договаривайте, граф, — сказал он тихо. — Вы подводите меня к чему-то, и я хочу услышать это целиком, а не по частям.

— Чтобы вернуться домой, — сказал я, — мне нужно пройти мёртвую землю до самой её середины, дойти до семени и поглотить его. Не убить — убить его нельзя. Поглотить, вобрать в себя целиком. Моя тьма примет его тьму, и той силы — силы целого семени, выпившего половину мира, — мне хватит, чтобы пробить стену между мирами и уйти. Туда, откуда я пришёл.

Я помолчал.

— И это же движение спасёт ваш мир, ваше величество. Потому что семя, поглощённое мной, перестанет пить землю. Предел начнёт умирать. Чёрная вода отступит. Орден, что держится на её зове, рассыплется. Всё, что убивало этот мир веками, кончится в тот миг, когда я вберу семя в себя. — Я посмотрел ему в глаза. — Спасти ваш мир и уйти из него домой — для меня одно и то же действие. Я не могу сделать одно, не сделав другого.

В саду стало очень тихо. Где-то за клумбами перекликались садовники. Кольцо гвардии стояло далеко, неподвижное, глухое.

Король смотрел на меня долго. Я видел, как он складывает это — не как государь, взвешивающий выгоду, а как человек, до которого доходит цена.

— То есть, — сказал он наконец, медленно, — если вы победите, граф, — вы уйдёте.

— Да.

— Насовсем. Через эту вашу дверь между мирами. Туда, откуда пришли.

— Да, ваше величество.

— И это не «может быть», не «если сложатся обстоятельства». Это условие. Вы спасаете мой мир — ровно тем, что покидаете его навсегда.

— Да.

Он отвернулся. Снова заложил руки за спину, сделал несколько шагов по дорожке, остановился у голой клумбы, глядя на чёрную весеннюю землю, из которой ещё ничего неросло.

Я знал, что происходит у него в голове, потому что сам прошёл через это на дне. Король получал спасителя — и терял его в одном лице. Человека, который поднял ему фронтир, взял тридцатый ярус, дошёл до дна впервые в истории, построил машины, вскрыл Орден, — этого человека он мог сохранить, только если мир продолжит умирать. А спасти мир мог, только отпустив его навсегда. Никакой середины. Никакого «и то, и другое».

Это был плохой выбор. Такой плохой, что и выбором-то не был: мир важнее одного человека, даже такого. И король, я знал, это понимал. Но понимать и принять — разные вещи, и я дал ему время на второе, стоя молча за его спиной.

— Знаете, граф, — сказал он наконец, не оборачиваясь, — за годы этой возни с Орденом, с фронтиром, с тьмой я привык, что каждая победа чего-то стоит. Я хоронил людей. Терял города. Платил золотом, кровью, годами. Я думал, что научился считать цену любой победы заранее. — Он обернулся, и лицо у него было усталое и прямое. — А эту я не просчитал. Самая большая победа в истории моего королевства — спасение всего мира — стоит мне лучшего из моих людей. Не его жизни. Хуже. Его ухода живым, туда, где я его никогда не увижу и не смогу даже узнать, дошёл ли он.

— Ваше величество...

— Не перебивайте. Я не жалею. Короли не жалеются, это дурной тон и пустая трата времени. — Он выпрямился, и в нём снова проступил государь. — Я принимаю это, граф. Принимаю сразу и без торга, потому что торговаться тут не с кем и не о чем. Вы пойдёте в Предел. Вы поглотите это семя. Вы спасёте мир и уйдёте домой. А я сделаю всё, что в моих силах, чтобы вы дошли. Это решено. Вопрос теперь один: как.

Вот за это я его и уважал. Он потратил ровно столько времени на боль, сколько было можно себе позволить, — и перешёл к делу.

* * *

Дальше мы говорили как двое, планирующих войну, — потому что это и была война.

— Пойдёте вы, — сказал король. — Один?

— С Кассией. Больше никто не пройдёт — чёрная вода не пустит. Даже она пройдёт только потому, что... — я запнулся, подбирая слова, — потому что связана со мной глубже, чем связаны обычно двое. Это долго объяснять, ваше величество. Достаточно сказать, что она — моя единственная защита от того, чтобы утонуть самому. Пока она рядом и держит меня, я остаюсь собой. Без неё я не дойду до сердца человеком.

Король кивнул. Про меня и Кассию он знал больше, чем я ему когда-либо говорил, — он вообще знал про всё в своём королевстве больше, чем полагали его подданные, а про собственную дочь и подавно.

— А здесь? — спросил он. — Пока вы в Пределе — что будет здесь?

— Здесь вторая война, — сказал я. — И она, ваше величество, может оказаться тяжелее моей. Потому что Орден теперь знает то же, что знаю я. Знает, что дорога к семени существует и что я по ней иду. Для них это конец света в буквальном смысле: если я дойду до семени первым и вберу его — рухнет всё, на чём они стоят веками. Их вера. Их зов. Сама причина их существования. Они не смогут остановить меня в мёртвой земле — туда им хода нет. Значит, они будут останавливать меня здесь. Любой ценой. Всем, что у них есть.

— А у них, — медленно проговорил король, — есть больше, чем мы думали. Мы взяли переплётчика — тот вёл узел, но сам был из мелких. Гарвен, ваш магистр, оказался и вовсе слепым: двадцать лет продавал свою услужливость, не спрашивая кому. Ни он, ни переплётчик не вывели нас выше. Вы сами говорили: это пирамида, и руки не знают друг друга.

— Есть ещё как минимум одна рука, ваше величество. Высоко. — Я выдержал паузу, прежде чем сказать то, что не доверил бы никакой бумаге. — В королевской почте.

Король не переспросил и не удивился вслух. Он был слишком хорош для этого. Но я увидел, как что-то сошлось у него за глазами — старое подозрение, вставшее наконец на место.

— Магнус, — сказал он тихо.

— Я не могу доказать. Пока. Но всё указывает на него: франкировка, которой Орден годами гонял письма поверх досмотра, ставится в одном ведомстве на всё королевство. И он на приёме дал мне понять — тонко, под видом любезности, — что читает мою переписку. Он предупреждал меня, ваше величество. Спокойно, глядя в глаза. Так предупреждают того, кого уже считают угрозой.

— И вы не сказали мне сразу.

— Не мог. Письмом — он бы прочёл. В зале — услышали бы. Я мог сказать вам это только так. — Я обвёл глазами пустой сад, далёкое кольцо гвардии. — Здесь. Где нет ни бумаги, ни стен.

Король долго молчал, глядя на меня, и в глазах его была не злость — понимание, тяжёлое, как жёрнов.

— Значит, вот как теперь, — сказал он. — Я не могу написать приказ, не подумав, чьи глаза его прочтут. Не могу отправить гонца, не прикинув, чью почту он везёт. В моём собственном королевстве, граф, у меня отняли самое простое — возможность сказать своё слово и быть уверенным, что его услышит только тот, кому оно сказано.

— Да, ваше величество. Именно так теперь.

— Хорошо. — Он выпрямился, и я увидел, как в нём поднимается тот холодный, деловой гнев, который был страшнее любого крика. — Тогда будем играть по этим правилам. Магнуса не трогаем — вы правы, он выведет выше, если дать ему думать, что он не раскрыт. Пусть читает. Пусть докладывает своим. А мы с этого дня всё важное будем решать так. — Он обвёл рукой сад. — На ногах. Под небом. Там, где нет ни пера, ни щели в стене. Как воры. В собственном дворце.

Он усмехнулся — коротко и невесело.

— Знаете, граф, что самое горькое? Вы принесли мне спасение мира и войну в моём собственном доме одним и тем же докладом. За одну прогулку. Умеете вы обрадовать государя.

— Простите, ваше величество.

— Не за что. Лучше горькая правда на ногах в саду, чем сладкая ложь на бумаге, которую читает предатель. — Он положил мне руку на плечо — жест, которого он не позволял себе почти никогда. — Идите, готовьтесь к походу, граф. Набирайтесь сил. А войну здесь я беру на себя — мою войну, за мой мир, пока вы будете драться за свой путь домой. Только оставьте мне человека, которому я смогу доверить фронт. Не всё же мне тянуть на старых плечах.

— Оставлю, ваше величество, — сказал я, и в горле у меня встало то, о чём я старался пока не думать. — Я как раз собирался поговорить с ним на днях.

Мы пошли обратно к дворцу — двое, разделивших теперь общую тайну и общую войну. Кольцо гвардии молча сомкнулось за нашими спинами, ничего не услышав. Сад молчал. И только когда мы почти дошли до дверей, король сказал — негромко, глядя перед собой, будто про себя:

— Дойдите, граф. Слышите? Что бы там ни было в этой мёртвой земле — дойдите и сделайте это. Я отпущу вас домой без единого упрёка. Но если вы сгинете где-то на полдороге, не дойдя, — вот этого я вам не прощу. Ни вам, ни себе.

Я не ответил. На это нечего было отвечать.

* * *

От короля я вышел выпотрошенным, и ноги сами понесли меня не домой, а через полстолицы — на широкую площадь, которой я не видел с той осени, когда впервые сюда забрёл.

К храму.

Тому самому. Громадному, в острых каменных иглах, вонзённых в серое небо. Три года назад, раздавленный тоской по дому, я вошёл сюда наугад, сел перед статуей — и рядом опустился на скамью тихий немолодой человек в простой серой мантии, с усталым умным лицом,

без единого знака сана. Мы говорили. Я ушёл, обернулся — а скамья была пуста. Много позже, на дне Колодца, я узнал, кто это был. Создатель. Тот, кто отвечает за весь этот мир, приходил ко мне сюда — и сел рядом как никто, как простой служитель.

И вот теперь, накануне дороги, из которой не возвращаются, я пришёл сюда снова. Глупо, наверное. Но я пришёл с тайной, стыдной надеждой: а вдруг он опять сядет рядом. Скажет что-нибудь. Отпустит. Мне это было нужно перед Пределом — чтобы кто-то, кто больше меня, сказал: иди, всё правильно.

Я сел перед статуей и стал ждать.

Никто не сел рядом. Долго. Храм жил своей тихой жизнью: горели свечи, шаркали редкие богомольцы, где-то в глубине пели вполголоса. Создатель не приходил. Я и не думал всерьёз, что придёт, — и всё равно, когда стало ясно, что не придёт, что-то во мне опустилось.

А потом рядом всё-таки сели.

Но не он.

* * *

Это был человек в облачении — и облачение было всем тем, чем не была серая мантия того служителя. Тонкое сукно, шитьё серебром, тяжёлая цепь на груди с самоцветом размером с голубиное яйцо. Немолодой, полный, румяный, с мягкими руками, сложенными на животе, и с лицом до того добрым, до того благостным, что к нему сразу хотелось потянуться, как к тёплой печи в мороз.

— Вы давно сидите, сын мой, — сказал он мягко, певуче. — И лицо у вас человека, который пришёл не молиться, а спрашивать. Я не ошибся?

— Не ошиблись, — сказал я. — А вы кто?

— Пастырь этого храма. Кардинал Ансельм, если угодно полнее. — Он улыбнулся, и улыбка была хорошая, тёплая, обволакивающая. — Не пугайтесь сана, сын мой. Под этой цепью такой же усталый старик, как и вы. Что привело вас? Вижу — большое горе или большая дорога. У вас лицо человека, который прощается.

Я смотрел на него и не знал, что сказать. Он был приятен. Он был спокоен и рассудителен, и от него шло тепло, и хотелось выложить ему всё, как выкладывают доброму лекарю. И именно поэтому — сам не знаю почему — я не выложил ничего.

— Я искал одного человека, — сказал я осторожно. — Служителя. Немолодого, в простой серой мантии. Он сидел здесь однажды, на этой скамье. Давно.

Что-то на миг мелькнуло в добрых глазах кардинала — быстрое, внимательное, вовсе не добродушное, — и тут же спряталось обратно в тепло.

— В серой мантии, — повторил он ласково. — Сын мой, в этом храме служат десятки братьев, и все в сером. Кого вы ищете? Как его звали?

— Я не знаю имени, — сказал я. — Думаю, вы бы всё равно его не вспомнили.

— Быть может, быть может. — Он покивал, благостно, необидчиво. — Что ж, если найти его вам так важно — назовите приметы, я поспрашиваю братию. Я здесь знаю всех. Всех до единого, сын мой. Ни один человек не входит в этот храм и не выходит из него без того, чтобы я не знал.

Он сказал это по-прежнему тепло, с той же доброй улыбкой. Но слова были странные. И на слове «всех» тепло на миг стало чем-то другим.

— Спасибо, — сказал я, поднимаясь. — Не трудитесь. Это было неважно.

— Как знаете, сын мой. — Он тоже поднялся, легко для своей полноты. — Ступайте с миром. И знаете что? — Он положил мне на плечо мягкую тёплую ладонь, и я с трудом удержался, чтобы не сбросить её. — Куда бы вы ни шли — идите смело. Всё в этом мире устроено правильно. Даже то, что кажется нам злом, служит замыслу. Помните об этом, и вам будет легче.

Я вышел из храма на площадь, под серое небо, и долго стоял, не понимая, отчего мне так не по себе. Добрый старик. Тёплые слова. Утешение, за которым я, в сущности, и пришёл.

А по спине шёл холод, и я не мог объяснить почему.

Я списал это на усталость и на разговор с королём. И забыл — почти.

Глава 3. Путь в Грейфолл

Собирались мы неделю, и вся эта неделя ушла на споры о том, что брать.

Точнее, спорил я сам с собой. Кассия собралась за один вечер: сложила в дорожный мешок смену одежды, оба адамантовых клинка, точильный камень, моток тонкой верёвки — и всё. Она вообще умела то, чего я так и не выучил за три года: не тащить с собой лишнего. Человек, выросший так, как выросла она, знает цену каждой вещи, которую придётся нести на своей спине.

А я стоял над раскрытым сундуком и не мог решить.

Не потому, что не знал, что брать в поход. Знал — я ходил в Колодец десятки раз. А потому, что это были не сборы в Колодец.

Из Колодца возвращаются. В Предел я уходил, чтобы не вернуться, — и всякая вещь, которую я держал в руках, спрашивала: а тебе это ещё понадобится там, куда ты идёшь? Дорожный несессер — понадобится? Запасные сапоги — понадобятся? Книга, которую я так и не дочитал за два года, — а её взять, чтобы дочитать где, на Земле?

Я поймал себя на этой мысли и отложил книгу. Потом взял снова. Потом понял, что стою над сундуком уже полчаса и держу в руках дурацкую книгу, и что дело не в книге.

Дело в том, что я собираю вещи в дорогу, из которой не пишут писем.

* * *

Кольцо из Предела я положил в поясной кошель, отдельно от всего.

Тёплое обручальное — то, что восемь лет, — осталось на шнурке под рубашкой, у сердца, где ему и место. Его я не «брал»: оно было при мне всегда, оно было частью меня, как рёбра.

А это, второе, тусклое, безвестное, три года пролежавшее мёртвым грузом, — я взял сознательно, впервые. Взял, потому что оно потеплело на дне и с тех пор не остыло. Взял, потому что оно было родом из Предела, а я шёл в Предел, и что-то мне подсказывало, что там, у сердца мёртвой земли, эта вещь ещё скажет своё слово.

Кассия увидела, как я перекладываю его в кошель.

— Что это? — спросила она.

— Кольцо. Брун отдал его мне в Грейфолле, в первую зиму. — Я помолчал. — Оно из Предела.

Она посмотрела на меня внимательно — она всегда смотрела внимательно, когда я говорил меньше, чем следовало.

— И ты берёшь его туда, откуда оно взялось.

— Беру.

— Зачем?

— Не знаю, — сказал я честно. — Но оно однажды спасло мне жизнь. Мне кажется, оно ещё не закончило.

Кассия не стала расспрашивать. Она вообще редко расспрашивала, когда чувствовала, что человек и сам не знает ответа. Только кивнула — и я увидел, что она это запомнила, отложила в свой счёт, как откладывала всё важное.

* * *

За машиной я пошёл к Тамму, в Академию наук.

Это была не Академия Искателей, где из дворянских сынков восемь лет куют мечников. Это была её противоположность: старый дворец в верхнем городе, где учёные мужи весь век возились с искрами да хитрыми машинами — горны, лампы, холодильники, водоподъёмные колёса. Не клинок, а чертёж. Не арена, а верстак. Тамм был из этих, из верстачных, и лучшим из них.

Механическое крыло, где мы когда-то строили первую машину, Орден сжёг — в ту самую ночь, когда ударил по Кессу и Финну, сжёг вместе с чертежами и со всем, что мы прятали от мира. Тамма вытащили из огня обожжённым по левой стороне, без памяти, и лекарь академии разводил руками. Он выкарабкался. Крыло отстроили заново — с новой крышей, новыми горнами, — и старик вернулся туда, где едва не сгорел, и работал так, будто ничего не было. «Где ж мне ещё, — сказал он мне как-то. — Тут мои горны. Тут мои руки помнят каждый угол. А что до пожара — так молния в одну воронку два раза не бьёт».

Крыло я нашёл по звуку и запаху: лязг, шипение пара, горячее масло, палёная стружка. В дальнем конце под парами стояла машина — колёсная, приземистая, с медной трубой и штурвалом, как у корабля, — и подмастерье гонял её на месте, вхолостую, слушая, как стучит поршень.

Тамм сидел на низкой скамье спиной ко мне и что-то паял.

— Магистр, — сказал я.

Он обернулся, и я снова, как в первый раз после его болезни, споткнулся о его лицо. Левую половину так и не отпустило: ожоговая корка стянула щёку и висок, глаз чуть косил. Он привык, и я привык, но первый взгляд каждый раз спотыкался.

— А, — сказал Тамм. — Граф уже, говорят. Не барон. — Он отложил паяльник. — Ну-ну. Тот самый лохматый найдёныш, которого учили держать нож, — и на тебе, сиятельство. Живой, и то ладно.

— Живой, — согласился я.

— Дошли, значит, до дна. Весь город гудит: граф со своей беловолосой вернулись с того света. Врут, поди, как всегда?

— Не врут, магистр. Дошли.

Он смотрел на меня несколько секунд — своим цепким, оценивающим взглядом мастера, который привык видеть в вещах и людях устройство, — и я понял, что он читает по мне то же, что прочёл бы по остывшей машине: был на пределе, вернулся, держится.

— Ну садись, — сказал он. — Раз живой. Рассказывай, зачем пришёл. Ты просто так не ходишь.

* * *

Я рассказал ему — не всё, конечно. Про луг, про семя, про то, что ухожу навсегда, Тамм знать не мог: это был королевский секрет, да и не его ноша. Я сказал то, что ему было нужно и достаточно.

— Мне нужна машина, магистр. Такая, как эта, — но больше. На четверых, а лучше на шестерых. И с местом под груз — под воду, под припас, под всё, что придётся везти на своей оси через землю, где нет ни колодца, ни двора, ни живой души.

Тамм слушал, склонив голову набок.

— Далеко едешь?

— Далеко. И туда, где никто не живёт.

— На восток, — сказал он.

Я посмотрел на него.

— С чего вы взяли?

— С того, барон, что весь юг и запад заселён, а на север дорога к морю, и там постоянный двор через каждые двадцать вёрст. — Он усмехнулся половиной лица. — «Где никто не живёт» в этом королевстве только одно место. То, про которое детей пугают. — Он покачал головой. — Вон ты куда собрался. Ну-ну.

Он не спросил зачем. Тамм вообще не спрашивал зачем — он спрашивал сколько, какой вес и к какому сроку. Это я в нём и ценил.

— Сделаешь?

— Сделаю. — Он поднялся, кряхтя, подошёл к верстаку, смахнул стружку, взял уголь. — Только слушай сюда, барон, чтоб потом не обижался. Большая машина — это не маленькая, к которой приделали лишнюю скамью. Тяжелее втрое, значит, котёл больше, значит, воды жрёт больше, значит, стоять на воду будешь чаще. Двадцать вёрст в час она даст, как маленькая, — на ровном. Но по бездорожью, по мёртвой земле твоей, где ни тракта, ни моста, — дай бог половину. И запас воды вози с собой: где ты там колодец найдёшь?

— Воду найду, — сказал я. — С водой как раз просто. Дальше объясню.

Он глянул на меня искоса, но допытываться не стал. Начертил на верстаке углём короб, приделал к нему колёса, вывел сзади ящик.

— Багажник тут. — Он ткнул углём. — Под ним бак запасной. Скамьи вот так, спинками друг к другу, чтоб места меньше ели. Верх — навес на дугах, кожаный, снимается. — Он выпрямился. — Три недели.

— Магистр.

— Две, — сказал он с отвращением. — Если ребят посажу в ночь. Но учти: спешка — она в машине сразу видна. Что торопясь собрано, то в дороге и отвалится.

— Две недели у меня есть, — сказал я. — Спасибо, магистр.

* * *

Он собрал её за двенадцать дней.

Я приходил смотреть, как растёт эта штука, и не мог отделаться от странного чувства. Тамм строил мне повозку, на которой я уеду умирать, — и строил её так же азартно, любовно, придирчиво, как строил бы всё остальное. Он подгонял золотник, ругался с подмастерьями из-за перекошенной оси, трижды перебирал тормоз. Он вкладывал в неё всё своё ремесло — и не знал, что вкладывает его в мою последнюю дорогу.

А может, знал. Тамм был неглуп. Может, потому и вкладывал так — чтобы то, что понесёт меня туда, откуда не возвращаются, было сделано на совесть.

В последний день он обошёл машину кругом, попинал колёса, послушал, как ходит поршень, и сказал:

— Ну вот. Зверь. — Он погладил медный бок ладонью в шрамах. — Возьмёт шестерых с грузом, на ровном — двадцать вёрст в час, воду держит на полдня хода. Штурвал вот, тормоз вот, топку сам знаешь. — Он посмотрел на меня. — Береги её, барон. Я в неё половину того, что осталось от моих рук, вложил.

— Сберегу, магистр.

Не сберёг. Но об этом — сильно позже.

* * *

Выехали на рассвете.

Кассия села рядом со мной на передней скамье — на той, где я ещё зимой, чертя первую машину, нарисовал два места вместо одного. Багажник был набит: вода, припас, снаряжение, оба её клинка, мой адамантовый, нож Дорна с костяной рукоятью, тёплой от тридцати лет чужой ладони. Я оглянулся на этот груз и подумал, что везу с собой всё, что у меня есть в этом мире, кроме людей.

Людей я оставлял.

Машина взяла с места, чихнула, выровнялась — и пошла, набирая, стуча поршнем, распугивая кур на столичной окраине. Мальчишки Тамма бежали следом и махали, пока не отстали. Сам Тамм стоял у ворот крыла, не махал — смотрел, привычно щурясь на своё изделие, проверяя на слух, как оно идёт.

* * *

Семьсот вёрст мы прошли за три дня.

Это было почти неприлично — расстояние, на которое обоз кладёт две недели, а верховой восемь дней. Мы летели по тракту, и тракт летел под нас, и сёла шарахались к заборам, и

на постоянных дворах, где мы вставали на воду и ночлег, о нас говорили ещё до того, как мы подъезжали: железный зверь катился по королевству, обгоняя собственную молву.

Кассия правила половину пути — она выучилась быстро, руки у неё были верные. Я сидел рядом, смотрел, как разворачивается земля, и молчал. И она молчала. Мы вообще много молчали в ту дорогу, и это было хорошее молчание, не пустое: двое людей, которые знают, что времени осталось мало, и не тратят его на слова, без которых можно обойтись.

Один раз, на второй день, она сказала — не поворачивая головы, глядя на дорогу:

— Красиво тут.

Мы шли вдоль реки, и справа поднимались холмы, рыжие от прошлогодней травы, и небо было высокое, чистое, чужое.

— Красиво, — согласился я.

— Ты будешь по этому скучать? — спросила она. — Там, дома?

Я не ответил сразу. Вопрос был из тех, на которые нельзя отвечать быстро.

— Не знаю, — сказал я наконец. — Наверное, буду. Странно скучать по миру, который тебя убил и в который тебя занесло без спроса. Но, наверное, буду. Тут... — Я поискал слово. — Тут со мной случилось много всего, чего дома не случилось бы. Тут я узнал, каким могу быть.

Она ждала.

— Знаешь, как я жил там? — сказал я. — Каждое утро я надевал одинаковую одежду и ехал в огромный дом из стекла и бетона. Высокий — этажей тридцать, а рядом стояли ещё выше, целый лес таких домов, и в каждом окне — люди за столами. Я поднимался на своём этаже, садился за свой стол, включал машину, которая считает, и до вечера считал чужие деньги. Прибыль, убытки, столбики цифр. Восемь часов. Потом ехал домой. И так пять дней из семи, год за годом.

— И тебе это нравилось?

— Я об этом не думал, — сказал я, и сам удивился, до чего это правда. — Я был хороший счётчик. Меня ценили. Я поднимался по этим этажам — не по ярусу, по должностям, — и думал, что это и есть жизнь. Столик повыше, окно побольше. — Я усмехнулся. — А потом умер, очнулся в твоём лесу — и за три года впервые узнал, что у меня, оказывается, верная рука и что я не ломаюсь, когда страшно. Дома этого негде было узнать. Дома нечего было бояться, кроме понедельника.

— Что такое понедельник?

— Первый из тех пяти дней, — сказал я. — Самый нелюбимый.

Она подумала.

— Дурацкий у вас мир, — сказала она наконец. — Тридцать этажей, чтобы считать чужие деньги.

— Дурацкий, — согласился я. — Но там мой дом. И там меня ждут.

Она кивнула и стала смотреть на дорогу.

— А тут — вот это всё, — сказал я тихо, уже больше себе, чем ей.

— И я, — сказала она.

— И ты, — сказал я.

Она кивнула, будто я подтвердил что-то, что она давно знала, и снова стала смотреть на дорогу.

Мы больше не говорили об этом ни в ту дорогу, ни, кажется, вообще. Некоторые вещи проговариваешь один раз — и дальше несёшь молча.

* * *

В Грейфолл мы въехали на третий день, под вечер.

Город встретил нас достроенной южной стеной — той, что мы поднимали в мою последнюю здесь зиму: лиственница, земляная засыпка, четыре башни, четыре баллисты на них. Два

года назад на старой стене умирали. Теперь по новой ходили караулы, и раз в неделю расчёты стреляли по щитам за рвом. Ради этой разницы стоило всё затевать.

Дом стоял, как стоял. Груша у южной стены поднялась ещё на ладонь — деревце мне уже по плечо, тёмные глянцевые листья, ни одного плода. Ему до плодов ещё годы. Я посмотрел на него и отвёл глаза.

Мы въехали во двор, я заглушил машину, и стало очень тихо — той оглушительной тишиной, которая наступает, когда смолкает мотор, работавший три дня.

Кассия слезла со скамьи, потянулась, разминая спину.

А потом, не сказав ни слова, не переодевшись, не поев, только бросив сумку в сенях, — сразу же ушла.

Быстрым, знающим шагом человека, которого где-то ждут.

Я постоял, глядя ей вслед.

А потом пошёл следом.

Глава 4. Школа

Я пошёл за ней.

Не спросил разрешения — просто двинулся следом, на два квартала позади, как ходят люди Одо, и мне было и неловко, и очень любопытно. Я прожил в этом городе год. Я знал в нём каждую улицу. И я понятия не имел, куда она идёт.

Она шла на южную окраину, за станцию.

* * *

Про то, чем Кассия занимается в Грейфолле, я знал всё, что полагается знать.

Я знал, что она взялась учить молодых искателей станции — тех вчерашних пастухов, что приходили на фронтир за удачей и гибли на второй дыре. Знал, что гоняет их по утрам до седьмого пота. Знал даже, что со временем к искателям прибавились и другие — те, кого она подбирала по городу сама, из своих, кому податься было некуда. На них она тратила своё: свои деньги, своё время, свои нервы. Я не лез. Это было её.

Я знал даже, как это зовут в Гильдии. Не школой — «песочницей». Началось с насмешки: гляди-ка, беловолосая нянчится с щенками в песочнице. А потом насмешка как-то незаметно стала пропуском, и уже золотые тройки, набирая четвёртого, спрашивали между делом: а песочницу он у Кассии проходил? Не проходил — ну, тогда извини.

Я знал всё это.

И не был там ни разу.

* * *

Началось это, я знал, само собой — как начинается всё настоящее.

Она просто посмотрела на молодых искателей станции. Постояла у карты, послушала, как двое вчерашних пастухов планируют идти на трёхъярусную дыру, и сказала мне вечером: «Половина этих героев умрёт до весны. Не от тварей — от глупости». А наутро вышла на пустырь за станцией, встала перед десятком новичков, покрутила в пальцах нож и объяснила им, глядя с ласковой жалостью, что именно каждый из них сделает неправильно и в какой последовательности они умрут.

К обеду новичков было двадцать.

Это она мне рассказывала — коротко, между делом, будто речь о пустяке. Я слушал вполуха. Я строил тогда машины, вскрывал Орден, ходил к королю. У меня было большое, важное дело, а у неё — какие-то мальчишки на пустыре.

Полтора года спустя мальчишек было сорок два. Пустырь оброс забором. А я стоял в проулке за этим забором и понимал, что впервые в жизни вижу, чем на самом деле занималась моя женщина, пока я занимался своим большим важным делом.

* * *

Над воротами висела доска.

На доске было написано — коряво, ученической рукой:

ПЕСОЧНИЦА

Не «школа искателей», не «двор Кассии». Они взяли кличку, которой их дразнили, и прибили её над воротами, как имя. Это мне понравилось раньше, чем я успел подумать почему.

А ниже, помельче, другим почерком — я узнал руку Кассии:

Кто пришёл за славой — иди отсюда.

* * *

Я устроился у забора, в проулке, где меня не было видно с площадки, и стал смотреть.

На дворе было человек сорок. Мальчишки — от пятнадцати до двадцати, тощие, разномастные, в чём попало. Двое босиком. У одного не хватало двух пальцев на левой руке — свежий обрубок, ещё розовый.

И четыре девчонки.

Они стояли отдельной кучкой, и я сразу увидел, что их держат за своих — не жалеют, не поддразнивают, просто держат за своих. Это, я узнал позже, стоило Кассии двух выбитых зубов у одного дурака и сломанной челюсти у другого. Чужой закон она правила чужими же средствами.

Все держали деревянные палки вместо клинков.

Впереди стоял Финн и что-то показывал — медленно, разбирая по движениям, и мальчишки повторяли за ним. Финн вырос. Тот парень, которого я когда-то вытащил из леса мальчишкой, теперь стоял перед строем и учил — уверенно, спокойно, и его слушали.

А потом в ворота вошла Кассия, и двор изменился.

* * *

Они не вытянулись, как вытягиваются солдаты. Не заорали приветствие.

Они просто **собрались**.

Все сорок с лишним, разом, за одну секунду — как собирается собака, услышав шаги хозяина. Спины выпрямились. Разговоры смолкли. Палки легли в руки правильно.

Кассия прошла на середину, не глядя ни на кого.

— Финн. Что делали?

— Стойку разбирали, — сказал Финн. — Третий переход. Марек всё заваливается вправо.

— Марек.

Из строя вышел мальчишка лет семнадцати — длинный, нескладный, с испуганными глазами.

— Покажи.

Он показал.

Кассия смотрела. А потом взяла у Финна палку, подошла и **ударила** его — коротко, зло, без замаха, по правому боку, куда он заваливался.

Марек согнулся.

— Ещё раз, — сказала Кассия.

* * *

Он показал ещё раз. Она ударила ещё раз.

Он показал в третий раз — и в третий раз завалился вправо, и она снова ударила, и он упал на колени, держась за бок, и я увидел, как у него текут слёзы — злые, от боли и стыда.

— Встань.

Он встал.

— Ещё.

И вот тут — на четвёртый раз — он сделал правильно. Не завалился. Ушёл влево, разворачиваясь на пятке, и палка Кассии прошла мимо.

Она опустила оружие.

— Вот. Запомнил?

— Запомнил, — сказал он сквозь зубы.

— Почему запомнил?

Марек молчал.

— Потому что тебе четыре раза было больно, — сказала Кассия. — Это единственный способ, которым человек запоминает быстро. Меня учили так же. — Она сунула ему палку. — А теперь послушай меня, Марек. И все послушайте.

Она обернулась к строю.

* * *

— Гончая с первого яруса бросается низко, в ноги, и всегда чуть забирает влево, — сказала Кассия. — Всегда влево. Об этом написано в любой гильдейской книжке, и вы все это знаете.

Она подняла палку.

— И вы всё равно будете уходить не в ту сторону. Потому что в книжке — знание, а в теле — привычка. И когда на вас кинется первая же тварь, вас спасёт не то, что вы прочли, а то, что вбито вам в бок палкой сорок раз.

Она посмотрела на Марека.

— Я тебя била не потому, что злая. Я тебя била, чтобы через полгода, на первом же ярусе, ты ушёл правильно — не думая, не вспоминая, а просто потому, что твоё тело помнит боль.

Она бросила палку Финну.

— Мне не нужно, чтобы вы были храбрые, — сказала она строю. — Храбрых я хоронила пачками. Мне нужно, чтобы вы **вернулись**.

* * *

Я стоял в проулке, за забором, и слушал. И меня медленно накрывало.

Потому что это была не игра в учительницу. Не благотворительность знатной дамы, от скуки взявшейся поднимать беспризорников.

Это была настоящая, серьёзная, продуманная работа — и, слушая её, я понял, что она делает то, чего не делает никто в этом мире.

Гильдия не учит. Гильдия берёт человека, даёт ему медную бляху и пускает в дыру: выживет — значит, годен. Так учили меня. Так учили Дорна. Так учили всех. Из десяти новичков в первый год погибало шесть.

А Кассия — учила.

Она разобрала эту смертность по частям, как разбирают механизм. Села и подумала: **почему они умирают**. И выяснила, что умирают не оттого, что слабые, — умирают от одних и тех же трёх-четырёх ошибок, которые совершает каждый новичок и которые можно вбить палкой заранее.

Она вбивала их палкой.

Уже второй год из её школы никто не погиб на первых пяти ярусах. Ни один. Гильдия не понимала почему и подозревала мошенничество.

* * *

Она разбила их на пары.

— По двое! — крикнула Кассия. — Как всегда! Кто с кем встал в первый день, с тем и стоит до конца!

Двор разбился мгновенно, без суеты. Каждый знал своего.

— Спина к спине! — Она пошла между ними, поправляя, толкая. — Не плечом! Спиной! Ты должен чувствовать его лопатками, а не видеть глазами! Если ты его видишь — ты не смотришь вперёд, а вперёд смотреть некому!

Она остановилась над одной парой.

— Ты почему на него оглядываешься?

— Я... проверить...

— Ты ему не веришь.

— Верю!

— Не веришь. — Она смотрела сверху вниз. — Ты оглядываешься, потому что боишься, что он побежит. Так вот, слушай. — Она повысила голос, обращаясь ко всем. — Если ты не веришь спине — меняй пару. Сегодня. Сейчас. Потому что в Колодце ты обернёшься в самый плохой момент, и вас убьют обоих. — Она обвела двор глазами. — Вы можете не любить друг друга. Мне плевать. Но вы обязаны быть уверены, что он не побежит.

* * *

Я смотрел на это и вспоминал Дорна.

Старого пьяного Дорна с тремя пальцами, который орал на меня на стене Грейфолла в первую мою неделю:

«В Пределе выживает не сильный. Выживает осторожный. Тот, кто знает, когда не лезть. Кто разворачивается и уходит, даже когда мог бы победить. Я хоронил героев пачками. А трусы у меня все живы».

Она говорила его словами.

Она даже не знала об этом — я никогда не пересказывал ей тот разговор целиком. Просто у людей, которые долго ходят в Колодец и остаются живы, вырастает одна и та же правда, и они произносят её одними и теми же словами.

* * *

Девочка

Её звали Лита.

Я заметил её, потому что она была самая маленькая — лет шестнадцать, тощая, с обкусанными ногтями, — и потому, что дралась злее всех.

Она дралась не как ребёнок. Она дралась, как дерутся те, кого били по-настоящему: без правил, снизу, в глаза, в пах, в горло. Свою пару — здорового парня вдвое крупнее — она уложила дважды, и оба раза грязно.

Кассия остановила бой. Подошла. Постояла над ней.

— Ты его укусила.

— Он меня схватил.

— Правильно, — сказала Кассия.

Парень вытаращил глаза.

— Правильно, — повторила Кассия. — Тварь тебя не спросит, честно ты дерёшься или нет. Кусай. Бей в глаза. Бей ниже пояса. Хватай землю и швыряй в морду. — Она обвела двор. — Все слышали? В Колодце нет правил. Правила есть только у турниров, а турнир — это для дураков, которые дерутся с другими дураками. — Она посмотрела на Литу. — Но.

— Что «но»? — сказала девчонка.

— Ты дерёшься так, будто тебе всё равно, что с тобой будет, — сказала Кассия. — Ты не бережешься. Ты вкладываешься до конца, потому что тебе плевать, поломают тебя или нет.

Лита молчала.

— Я тебя знаю, — сказала Кассия. — Я такая была.

* * *

Она села перед ней на корточки. Двор молчал.

— Тебя сюда привёл кто-нибудь?

— Нет.

— Сама пришла?

— Сама.

— Откуда?

Лита посмотрела исподлобья.

— Не ваше дело.

— Верно, — согласилась Кассия. — Не моё.

Она встала.

— Так вот, слушай. Ты драться умеешь лучше половины этого двора. Но ты сдохнешь на третьем ярусе, потому что человек, которому плевать на себя, всегда лезет туда, куда не надо. — Она смотрела сверху вниз. — А я тебя не для того тут кормлю.

— А для чего? — огрызнулась Лита.

Кассия помолчала.

— Чтобы у тебя однажды появилось, что терять, — сказала она.

И пошла дальше по двору.

* * *

Я стоял за забором и не мог уйти.

Она отработала с ними до вечера. Четыре часа. Била их, орала на них, объясняла, показывала, заставляла повторять, гоняла по кругу с мешками песка. Знала каждого по имени, знала, у кого что не выходит, знала, кто с кем в паре и почему.

Их было сорок два.

Она собрала их за полтора года: сирот, детей должников, воришек, беглых, тех, кому nowhere идти. Таких нигде не ждут — ни в деле, ни в доме, нигде. Их гонят.

А Кассия брала. Кормила их из своих денег — из тех, что ей платили за спуски, — и никому об этом не говорила. Я узнал об этом от Финна, случайно, гораздо позже.

* * *

Вечером она отпустила их, и двор опустел.

Она осталась одна посреди площадки, наклонилась, подняла с земли забытую кем-то палку, повертела.

И тут увидела меня. Я стоял в воротах.

* * *

Она не удивилась.

— Давно смотришь?

— С утра.

— И как?

Я не знал, что сказать. Я стоял в воротах бывшего пустыря за станцией, в своём городе, в чужом мире, и смотрел на женщину, которую любил, и понимал, что впервые вижу её целиком.

— Кассия, — сказал я. — Я не знал.

— Чего ты не знал?

— Что у тебя тут... — Я искал слово. — Что это всё настоящее.

Она усмехнулась.

— А ты думал, я тут в куклы играю?

— Я думал, ты этим занимаешься от скуки, — сказал я честно. — Пока меня нет.

— Ну да, — сказала Кассия. — Ты так и думал. — Она бросила палку в кучу к остальным. — Что ж. Теперь знаешь.

* * *

Мы шли домой пешком, через вечерний город.

И я думал. О том, что через месяц уйду в мёртвую землю — и что она пойдёт со мной. Что это решено, что мы это обсудили, что она собирает вещи.

И что она оставит вот это. Сорок два человека, которых собрала по канавам. Литу, у которой должно однажды появиться, что терять. Финна. Школу, которую построила одна, пока я строил свою славу.

И, может быть, не вернётся.

* * *

— Кассия, — сказал я. — Не ходи.

Она остановилась.

— Что?

— Не ходи со мной, — сказал я. — Останься. У тебя тут дело. Настоящее. Люди, которые без тебя пропадут. Я справлюсь один — я родня этой дряни, я пройду там, где никто не пройдёт, а ты...

Я не договорил.

Она смотрела на меня. И тогда я увидел, как в её лице что-то делается — медленно, как поднимается вода.

— Повтори, — сказала она очень тихо.

— Кассия...

— Ты сейчас, — сказала она, — стоя посреди улицы, решил за меня, что мне делать с моей жизнью. Ты посмотрел четыре часа на мою школу, растрогался и решил: пусть остаётся, ей будет полезнее.

— Я...

— Молчи. — Голос у неё был ровный и страшный. — Я тебе один раз объясню, Адам, и больше объяснять не буду.

Она шагнула ко мне.

— Это. Моё. Дело. — Она ткнула пальцем мне в грудь на каждом слове. — Моя школа. Мои ученики. Моя жизнь. И решать, что с ними будет, буду **я**. Не ты. Захочу — останусь. Захочу — пойду. Захочу — брошу всё и уеду на юг разводить коз. — Она смотрела мне в глаза. — Но решу это **я**, а не мужчина, который посмотрел на мой двор и умилился.

Она отвернулась и пошла.

Я догнал её.

— Прости, — сказал я.

— Прощу, — сказала Кассия, не оборачиваясь. — Один раз.

Она прошла ещё несколько шагов.

— И вот что. Я иду с тобой. Знаешь почему?

— Почему?

— Потому что там ты сдохнешь без меня, — сказала она. — А тут они без меня выживут. Финн справится: он добрее, чем я, и его слушают. Я на нём школу и оставляю. — Она пожала плечами. — Я посчитала, Адам. Я всегда считаю. Тут без меня обойдутся — а там ты без меня труп.

Она остановилась и повернулась ко мне.

— Понимаешь разницу? Я иду не потому, что ты позвал. Я иду, потому что **я так решила**.

Глава 5. Отдача ловушки

Чтобы объяснить, что случилось дальше, мне придётся вернуться немного назад — к той зиме, когда я ещё не спускался на дно, ещё не знал ни про семя, ни про Создателя, и жил в столице, готовясь к последнему спуску.

Тогда я поставил Ордену ловушку. И тогда же, ещё до Колодца, пришёл ответ, которого я ждал полгода. Я держал его в голове всю дорогу вниз и всю дорогу обратно, и здесь, в Грей-фолле, разбирая после возвращения бумаги, снова наткнулся на это письмо — и понял, что с него, по сути, и началась вторая моя война. Та, что шла не под землёй.

Так что вот как это было.

Письмо от Финна пришло не почтой.

Это было важно само по себе, и я оценил это раньше, чем сломал печать. Обычные донесения с юга шли станционной почтой — быстро, дёшево, через руки, которые я теперь знал чьи. А это Финн отправил в объезд: с верным человеком, торговым обозом, медленным надёжным путём, которым мы пересылали только то, что не должно попасть на глаза чужим. Значит, в письме было то, ради чего стоило потерять неделю в дороге, лишь бы оно не легло под нужный взгляд.

Я вспомнил, что в этом письме, ещё до того как развернул его. Я сам его заказал — той зимой, перед последним спуском.

Тогда, готовясь к дну, я поставил Ордену ловушку. Простую, из тех, что проверяют не врага, а канал. Я отправил через королевскую почту — то есть через руки Магнуса — письмо, адресованное Одо в Грейфолл, деловое, спокойное. В нём я сообщал, что намерен в ближайшее новолуние лично осмотреть осевшую дыру четвёрки, ту, где Орден вёл свои раскопки, и просил подготовить сопровождение.

Это была ложь от первого слова до последнего. Никуда я в новолуние не собирался — я готовился к походу и был занят совсем другим. Письмо существовало ради одного: проверить, что случится у дыры в ту ночь. Если Магнус читает мою почту и передаёт прочитанное тем, кто копает, — раскоп в новолуние либо замрёт, либо встретит меня засадой. А если у дыры не изменится ничего — значит, я ошибся, или письмо не дошло куда думаю, или канал устроен иначе.

Настоящее распоряжение ушло Финну другим путём, в обход почты, в те же дни: «В новолуние смотри за дырой в оба. Меня там не будет. Кто зашевелится — запиши. Сам не лезь».

Полгода я не знал ответа. Был спуск, было дно, был Создатель, была вся перевёрнутая правда мира — мне было не до старой ловушки. А она всё это время стояла и ждала, как стоят и ждут хорошо поставленные ловушки, и вот наконец захлопнулась, и Финн прислал мне то, что в неё попало.

Я развернул письмо. Оно было написано знакомым угловатым дорновским почерком — почерком человека, который выучился грамоте поздно и потому выводит каждую букву с недоверием, как чужую. Но писал Финн теперь ровнее, чем год назад. Он вообще многому выучился за этот год, мой мальчишка с семью ножевыми ранами, и по этому письму это было видно.

Вот что там было.

* * *

«Барон. Или граф — Бренна говорит, теперь граф, но для меня ты барон, извиняй.

Ты велел смотреть за дырой в новолуние и записать, кто зашевелится. Записал. Долго не слал — ждал верного обоза, почте это не отдам, ты сам поймёшь почему, как дочитаешь.

В ту ночь у дыры было не как всегда. Обычно там работа тихая: копатели качают из земли свою черноту, возят её бочками на восток, охрана стоит, костры прячут. Я за ними который

месяц смотрю, знаю их порядок наизусть — кто когда сменяется, сколько подвод, куда возят. Скучный порядок, рабочий.

А в новолуние порядок сломался.

За два дня до новолуния к раскопу приехали чужие. Не копатели и не здешняя охрана — эти я всех в лицо знаю. Приехали ночью, малым обозом, крытые повозки, лошади хорошие, не рабочие. Встали в стороне, лагерем, костров не жгли совсем. Копатели при них присмирели — я видел, как их старший, который обычно орёт на всех, перед этими ходил тихо, шапку мял. Значит, приехал кто-то, кого они боятся сильнее своего старшего.

А в саму ночь новолуния — вышел он.

Один человек. Из крытой повозки. Я лежал, как ты учил: не ближе полёта стрелы, с подветра, в бересклете, где меня не видать. Лица не разобрал — далеко, темно, новолуние, он в капюшоне. Но видел вот что.

Он не копал и не смотрел, как копают. Он пришёл к самому краю дыры — туда, где отвал, где чернее всего, — и стоял. Долго. Один, охрана поодаль. Стоял и смотрел в дыру, вниз, будто ждал кого. И я понял, барон: он ждал тебя. Он приехал за два дня, встал лагерем, вышел в новолуние к краю — потому что кто-то ему сказал, что ты придёшь посмотреть дыру в новолуние. Он пришёл встречать тебя. А тебя не было.

Он постоял, сколько стоят, когда назначенный не явился. Потом обернулся к своим, что-то сказал — коротко, я не слышал. И они снялись в ту же ночь. Быстро. Обозом на восток, откуда приехали. Будто их тут и не было.

Барон. Я тебе так скажу. Копатели — это руки. А этот, в капюшоне, — не руки. По тому, как перед ним копательский старший шапку мял, по хорошим лошадям, по тому, что за тобой лично приехал за семьсот вёрст и в новолуние встал у дыры, — это кто-то сверху. Из тех, кого ты в столице ищешь. Он думал тебя тут встретить. Значит, кто-то ему шепнул, что ты придёшь. А знал про это только один: тот, кому ты письмо через почту слал. Ты ж мне тогда объяснил, для чего оно, ложное.

Вот я и не слал это почтой. Потому что если твоё письмо дошло до этого капюшона — то и моё дошло бы.

Приметы записал, какие смог: рост средний, повадка не воинская — не так стоит, как стоят бойцы, мягче, будто привык, что за него дерутся другие. На левой руке перчатка, на правой нет — правой он что-то держал у груди всю дорогу, не разжал. Может, знак какой, может, склянку. Не разобрал.

Больше не видел его ни разу. Ни до, ни после. Один раз пришёл — тебя встретить — и сгинул.

Я всё делаю, как ты велел. Только смотрю. Не лезу. Людей к дыре не пускаю, говорю — кромка беспокойна. Бренна знает, Ратмер знает, больше никто.

Что прикажешь дальше?

Твоя груша, что Кассия у дома посадила, — стоит, прижилась крепко. Подросла за лето, лист густой. Бренна велела приглядывать, я и приглядываю: окопал, подвязал. Плодов пока нет, рано ей. Но дерево доброе, будет.

Финн».

* * *

Я прочёл письмо дважды. Потом сел к столу, положил его перед собой и долго смотрел на угловатые буквы, складывая то, что в них лежало.

Ловушка сработала — и это было первое. До сих пор у меня была только догадка: оговорка перепуганного магистра да скользкая любезность на приёме. Догадка — не знание. А теперь знание было. Моё ложное письмо видела одна лишь почта — и через две недели к дыре, за семьсот вёрст, приехали встречать меня в ту самую ночь, которую я в письме назвал. Другого пути узнать про новолуние не было. Значит, Магнус читает мою почту и передаёт прочи-

танное дальше. Не нечистый на руку чиновник. Их человек. Доказательство не для суда — но для меня достаточное.

Это было первое. Второе было важнее.

К дыре приехал не связной. Не курьер, не наёмный нож. Приехал кто-то, перед кем копательский старший мял шапку, кто-то с хорошими лошадьми и невоинской повадкой человека, за которого дерутся другие. Кто-то, кто счёл нужным лично, за семьсот вёрст, в новолуние, встать у края дыры — чтобы встретить меня.

Магнус доносит. Доносящий не срывается в дальний конец страны встречать графа у ямы — он для того и сидит на месте, чтобы доносить. А тот, кто поехал сам, — стоит в этой пирамиде выше Магнуса. Насколько выше, я не знал. Но выше.

Финн, сам того не поняв, увидел мельком то, что я искал всё это время: кого-то из настоящей верхушки Ордена. Кого-то, кто отнёсся ко мне не как к делу для наёмников, а как к угрозе, ради которой едут смотреть в лицо своими глазами. Пусть даже в лицо не вышло — я не пришёл.

И вот это последнее заставило меня задуматься надолго.

Он приехал встречать меня. Он думал, я явлюсь осматривать дыру, — и приготовился. Как приготовился? Финн видел лагерь, видел, как они снялись, когда я не пришёл. Но что было бы, приди я на самом деле? Меня встретили бы там. Человек, ждущий тебя у края ямы в глухом углу фронта, в безлунную ночь, с обозом крытых повозок и охраной, — это не встреча. Это засада. Мягкая, вежливая, может быть, с разговором сначала, — но засада. Они хотели взять меня там. Или убить. Или, что вероятнее, попробовать сделать со мной то, что делает с людьми чёрная вода, — там, у самой дыры, откуда она сочится гуще всего.

Я не пришёл — потому что письмо было ложью. И теперь, месяцы спустя, я держал в руках доказательство, что не приди я тогда по-настоящему, всё могло кончиться на той безлунной ночи у дыры, не дойдя ни до какого дна.

Ловушка, которую я ставил, чтобы проверить канал, спасла мне, возможно, жизнь. Я поставил её как силос на птицу, а поймал в неё капкан, приготовленный на меня.

* * *

Кассия нашла меня за этим письмом — спустилась, увидела моё лицо, села напротив, взяла лист, прочла. Читала она быстро и вёдливо, как читала карты и планы, и на середине письма подняла на меня глаза.

— Он лично приехал, — сказала она. Не спросила. — За тобой. За семьсот вёрст.

— Да.

— Значит, ты для них не поручение, которое можно спихнуть наёмникам. Ты — то, ради чего кто-то из верхушки садится в повозку и едет через полкоролевства. — Она положила письмо на стол, ровно, углами к углам, как всё, что делала руками. — Это плохо, Адам. Это очень плохо и очень хорошо разом.

— Объясни хорошо.

— Хорошо то, что они тебя боятся. По-настоящему, лично, до того, что важные люди Ордена бросают дела и едут смотреть на тебя своими глазами. Так боятся только того, кто может всё им сломать. Значит, Создатель не солгал: ты правда можешь. Они это знают лучше нас. — Она помолчала. — А плохо всё остальное. Плохо, что за тобой охотится не рука, а голова или кто-то рядом с ней. Плохо, что они готовы ехать за тобой куда угодно. И хуже всего — вот это.

Она постучала пальцем по строчке про правую руку, которую капюшон держал у груди всю дорогу и не разжал.

— Он что-то нёс, Адам. Всю дорогу, у сердца, не выпуская. Финн подумал — знак или склянка. — Она помолчала, глядя на строчку, не спеша с выводом, как не спешила никогда.

— Не знаю что. Но человек, который в дальней дороге не выпускает что-то из руки даже на ночь, носит либо оружие, либо святыню. Оружие носят на поясе. А вот святыню — у сердца.

— И ты думаешь про чёрную воду.

— Я думаю, что боюсь про неё думать, — сказала она честно. — Но да. Ты сам мне рассказывал, во что превратился Тамм от нескольких месяцев с ней. И про того, первого, что основал их Орден, хлебнув её на берегу. Если они и правда возят её при себе, у сердца, — тогда тот, кто приехал за тобой, уже, может статься, не совсем человек. — Она подняла на меня глаза, и в них было то, что появлялось всегда, когда речь заходила о чёрной воде и обо мне. — Тогда ты будешь драться не с людьми, которые служат тьме. Ты будешь драться с тьмой, которая надела людей. Но это пока моя догадка. Не больше, чем у тебя — про почту, пока не пришло письмо.

Я знал это — узнал ещё на дне, из уст Создателя. Но одно дело знать устройство врага, и другое — видеть, как это устройство едет за тобой лично, за семьсот вёрст, со склянкой тьмы у сердца. Если Кассия права насчёт склянки. А она редко ошибалась в таких вещах.

— Что будешь делать? — спросила она.

— То же, что делал, — сказал я. — Готовиться к походу. Быстрее, чем собирался. — Я забрал у неё письмо, свернул. — И начинать вторую войну. Финн дал мне первую нитку к верхушке. Тонкую, оборванную — он даже лица не видел, — но нитку. Средний рост, невоинская повадка, склянка у сердца. Кто-то, за кем стоят и дерутся другие. Кто-то, кто ездит по стране тайно и лично охотится на меня.

— Немного.

— Немного. Но ещё недавно у меня не было и этого. — Я убрал письмо в кошель, туда же, где лежало тусклое кольцо из Предела. — А Финну надо ответить. И ответить не почтой.

Я сел писать ответ — тем же обозным, объездным путём, каким пришло письмо. Написал коротко: смотреть дальше, не лезть, вести счёт подводам и людям; если капюшон появится снова — не следить самому, только записать день, час и куда уедет. И в конце, отдельной строкой, как всегда:

«Ты всё сделал правильно. Лучше, чем я мог надеяться. Ты увидел то, что я искал всё это время, — и не полез, хотя, я знаю, руки чесались. Старик бы гордился. Я проверял — гордился бы. За грушу спасибо, что приглядываешь. Пусть растёт. Держись. Скоро всё это кончится, так или иначе. А.»

Я запечатал письмо и отдал его человеку, который повезёт его в объезд почты, медленным надёжным путём.

А сам долго сидел у окна столичного дома, глядя в стекло, за которым чужой каменный город жил своей вечерней жизнью, и думал о человеке в капюшоне, что стоял у края чёрной дыры в безлунную ночь и ждал меня, держа у сердца склянку тьмы.

Две войны, думал я. Одна впереди, в сердце Предела. Другая — здесь, в живом мире, и у неё теперь появилось первое лицо. Пусть без черт, в капюшоне, за семьсот вёрст. Но появилось.

Игра, которую я начал ложным письмом той зимой, сделала первый ход в ответ.

Тогда я спрятал письмо, ответил Финну — и ушёл вниз. И полгода эта нить пролежала нетронутой, пока я имел дело с вещами покрупнее человека в капюшоне: с ярусами, с чёрной водой, с Кассией, умирающей у меня на руках, с самим Создателем.

А теперь я вернулся. Теперь у меня снова было это письмо, был Грейфолл, была груша под окном и месяц времени до похода.

И пора было делать второй ход.

Глава 6. Щит

Тамм приехал в Грейфолл на исходе первой недели — и приехал не один.

Я не звал его. Я вообще не ждал его так скоро: он оставался в столице, при своём отстроенном крыле, и должен был, по уговору, слать мне вести письмами. А он вдруг явился сам, растрясши старые кости за три дня дороги на той же большой машине, — и не один, а с Велиссой.

Их приезд вдвоём сказал мне больше, чем любое письмо. Тамм срывается с места, бросает мастерскую, тащит за собой ведьму за семьсот вёрст — значит, у них есть что-то, чего в письме не передать и с чем нельзя ждать.

Они заняли под своё дело дальнюю комнату в моём доме — ту, что окнами в сад, с хорошим замком. И к вечеру, когда я вошёл туда, комната уже была не комната, а мастерская пополам с травницей: у Тамма на столе — чертежи, склянки, медные пластины, а у Велиссы на другом — пучки сухих трав, ступки, тёмные бутылки и тот же ровный, разбирающий тебя до костей взгляд, которым она встретила меня когда-то в первый раз.

— Ну, — сказала Велисса вместо приветствия, не поднимаясь. — Явился. Садись, граф. Разговор будет долгий и невесёлый.

Я сел. И увидел, что оба они — старик и ведьма — смотрят на меня так, как смотрят люди, приехавшие сказать важное.

— Мы про воду, — сказал Тамм. — Про чёрную. Я — с одного края, она — с другого. Слушай.

— Ты идёшь в Предел, — сказал он. — Опять. До самого конца, в это ваше сердце Предела, где сидит то, что льётся сюда чёрной водой. Мне Рейнар не сказал ни слова, не думай, он молчун, когда надо. Я сам понял. По твоему лицу, по тому, как ты весь этот месяц ходишь, как считаешь. Ты собираешься туда, где этой дряни будет не капля, не ручей, не море — где будет её источник. Её сердце. — Он подался вперёд. — И ты, граф, при всём моём к тебе уважении, собираешься туда, кажется, надеясь на одну свою тьму да на Велиссины упражнения. Так?

— Примерно так, — признал я.

— Дурак, — сказал Тамм спокойно, без обиды, как говорят очевидное. — Ты видел, что она сделала со мной от нескольких склянок и пары месяцев работы с паром. От капель, граф. От испарений. А ты идёшь к её источнику, где она будет вокруг тебя стеной, водопадом, воздухом, которым ты дышишь. И собираешься выстоять на голой воле. — Он покачал головой. — Твоя тьма тебя не выпьет, я знаю, ты рассказывал, ты ей родня. Хорошо. А Кассия? А сам ты — уверен, что твоя родня в нужную сторону тебя потянет? Нет уж. На голой воле туда не ходят. Туда ходят с защитой. И мы эту защиту тебе привезли. Полгода над ней бились — я со своего края, Велисса со своего.

— Я эту воду, — сказала Велисса, не отрываясь от своей ступки, — после Тамма взялась разбирать сама. Как травница. Меня ведь что зацепило: она живых пьёт, а мёртвого её самое — растения, травы — иные не боятся вовсе. Иная трава в ней и вянет, а иная стоит, будто в родниковой. Полгода я перебирала, какая стоит и почему. И кое-что нашла. — Она подняла на меня глаза. — Не спасение. Спасения от неё нет. Но подспорье. Об этом Тамм тебе и толкует — дай ему договорить, он любит по порядку.

* * *

Он разложил передо мной на верстаке то, над чем работал, и стал объяснять — обстоятельно, по-инженерному, но за каждым словом стояло то, чего не было в чертежах: его собственный ужас, оплаченный безумием и шестью днями, когда Велисса вытаскивала его с того света.

— Значит, слушай, как она входит, — сказал он. — Я на своей шкуре это прошёл, так что верь. Входит она не силой. Она не ломится. Она... подсказывает. Тихонько. Ты работаешь — а

тебе приходит мысль, хорошая, дельная, твоя вроде мысль: а сделай-ка вот так. А послушай-ка вот это. А накопи-ка про запас. И ты делаешь, потому что мысль-то хорошая, твоя же. А она не твоя. Она — её. Вот в чём вся хитрость, граф: она не приказывает чужим голосом. Она думает твоим. Ты не замечаешь, где кончился ты и началась она, потому что граница проходит внутри твоих собственных мыслей.

Он взял со стола медную пластину — ту самую, я узнал её, с застывшей чёрной каплей, что не желала испаряться.

— Я думал сначала: как от неё закрыться? Стеной? Стекло держит, медь держит, воду в сосуде удержать легко. Но ты же не в сосуд полезешь. Ты полезешь в неё. И тут стены бесполезны, потому что она входит не через кожу. Через мысли. А мысли стеной не загоришь.

— И что тогда? — спросил я.

— А тогда, — сказал Тамм, — я стал думать не как инженер, а как больной. Как человек, которого она уже брала. И понял вот что. Пока она подсказывала мне тихонько моим голосом — я был незащищён. А сломалось всё, когда пришла Велисса и стала говорить со мной. Чужим голосом. Настоящим. Про настоящее — про машины, про золотник, про то, что я люблю почестному. Каждое её слово было как... как гвоздь, за который можно ухватиться в тумане. Оно было снаружи меня. Оно было точно не «её». И вот за эти внешние, честные, чужие голоса меня и вытянули. Понимаешь, к чему веду?

Я начал понимать. И то, к чему он вёл, было умнее любой брони.

— Защита от неё — не стена, — сказал Тамм. — Защита от неё — якорь. Что-то снаружи тебя, чему ты веришь абсолютно и что она не сможет подделать твоим голосом, потому что оно не в твоей голове, а в твоей руке. Что-то, что говорит тебе: вот это — настоящее. Вот это — точно ты, а не она. И когда она начнёт думать твоим голосом, начнёт подсказывать — ты цепляешься за якорь и спрашиваешь себя: это идёт от меня — или от него? От якоря? И если от якоря молчок, а мысль сладкая и тянет вниз — значит, это она. Значит, гони.

Он стал доставать из ящиков верстака то, что сделал.

* * *

Первое было для Кассии.

— Ей туда нельзя без защиты вовсе, — сказал Тамм сурово. — У тебя, граф, хоть родня эта проклятая внутри, тебя не выпьешь. А она — обычный человек. Живой, тёплый, незащищённый, как я был. Для неё эта вода — чистый яд, и чем глубже, тем гуще. Она там сгорит, как свечка на ветру, если её не прикрыть.

Он развернул то, над чем, видно, бился дольше всего: не броня — скорее нагрудник, тонкий, лёгкий, из кожи, меди и чего-то ещё, с сосудами-капсулами вдоль груди и на запястьях.

— Тут внутри, в этих склянках, — сказал он, — вода. Только не та. Наша. Чистая, живая. — Он поднял палец. — Но и не совсем простая. Голая вода тут не держит, граф, я пробовал: чёрная её сжирает и не давится. А вот с тем, что Велисса в неё кладёт из своих трав, — держит. Её работа, не моя. Я железо да стекло, а что в склянках — это она.

— Настой, — сказала Велисса просто. — Из тех трав, что в чёрной воде не гибнут. Долго объяснять, да тебе и незачем. Скажу проще: живая вода, в которой стоит то, чего чёрная не берёт. Она этого сторонится. Не сильно. Но сторонится.

Тамм положил нагрудник на верстак.

— Смысл вот в чём: когда вода будет как надо и будет при ней, у самого тела, — чёрной труднее к ней подобраться. Как... как своя земля под ногами на чужбине. Не спасёт совсем, если она с головой нырнёт. Но даст время. Даст запас. Продержит её человеком дольше, чем без этого. — Он посмотрел на меня. — На большее я не способен, граф. Полностью её не закрою. Никто не закроет. Но час-другой лишний в её человеческом уме — иногда это всё, что между жизнью и не-жизнью.

Второе было для меня.

Тамм положил мне на ладонь небольшую вещь — тяжёлую, тёплую даже на вид. Это был не прибор и не оружие. Это был... я не сразу подобрал слово. Что-то среднее между часами без стрелок и музыкальной шкатулкой. Гладкий металлический корпус, внутри — механизм, я слышал, как он тихо тикает, мерно, ровно.

— Что это?

— Это твой якорь, — сказал Тамм. — Слушай. Внутри маятник и пара шестерён — простая механика, детская почти. Он отбивает такт. Ровный. Всегда один и тот же, что бы вокруг ни творилось: хоть в аду, хоть на дне, хоть в сердце твоего Предела — он тикает одинаково. Ему всё равно. Он глухой, железный и честный. — Старик постучал по корпусу пальцем. — А теперь смекай, зачем. Ты рассказывал: вода в тебе звучит, зовёт, и ты не всегда понимаешь, где твоя мысль, а где её. Так вот. Когда засомневаешься — приложи это к уху или к груди и слушай такт. Он — снаружи. Он не в твоей голове. Она не сможет его подделать, сбить, ускорить, замедлить — это железо, а не мысль, ей до него не дотянуться. И если твоё сердце, твои мысли, твой зов рвутся вперёд, а он всё так же тикает ровно и спокойно, — значит, это не ты торопишься. Это она тебя тянет. Держись за такт. Дыши под такт. Думай под такт. Пока ты слышишь его ровным — ты ещё ты.

Я держал эту вещь на ладони и слушал, как она тикает, — ровно, глухо, безразлично, — и понимал, что старик, которого чёрная вода едва не свела с ума, отдаёт мне сейчас самое ценное, что у него есть. Не механизм. Способ. Тот самый способ, которым его самого вытянули из безумия: внешний честный голос, за который можно ухватиться, когда собственный голос перестаёт быть твоим.

— Тамм, — сказал я. — Это же то, чем тебя лечила Велисса. Внешний голос. Ты сделал из этого прибор.

— Сделал, — кивнул он, и здоровая половина лица у него была и гордой, и грустной разом. — Не всем же везёт, чтобы рядом была ведьма с настоящим голосом в нужную минуту. Тебя там вытаскивать будет некому, граф. Кассия — она сама будет тонуть. Так вот пусть у тебя будет хоть железный голос, раз живого не дадут. Он глупый, он одно только умеет — тикать. Но он не соvrёт. Никогда. — Старик помолчал. — Я его каждую ночь проверяю, с тех пор как собрал. Прикладываю к уху и слушаю. И знаешь, граф, — мне спокойнее. Даже мне, здоровому уже. Потому что пока он тикает ровно — я знаю, что я это я.

* * *

— Спасибо, — сказал я, сжав коробочку в кулаке. — Я не знаю, чем отплачу.

— Дойди, — сказал Тамм просто. — Вот и вся плата. Дойди, сделай, что должен, и... — он запнулся, и я понял, что он подумал о том же, о чём весь этот месяц старался не думать я. — И иди себе домой, граф. Куда шёл. Мы тут без тебя как-нибудь. Обидно будет, конечно. Привыкли. Но мы справимся. А ты иди.

Он отвернулся к верстаку — быстро, чтобы я не увидел лица, — и стал что-то там перекладывать, и я понял, что старик, который когда-то плясал вокруг первой машины, как ребёнок, сейчас прощается со мной заранее, потихоньку, чтобы к настоящему прощанию было не так больно.

— Тамм, — сказал я. — Ты не хочешь спросить, нельзя ли тебе с нами?

Он замер над верстаком. Постоял. Потом сказал, не оборачиваясь:

— Хотел. Весь месяц хотел. Как в тот раз, с переправой, помнишь, я кричал, что это моя машина, что я сорок лет ждал. — Он повернулся, и глаза у него были сухие, но с трудом. — А потом подумал: граф, а что я там буду делать, в этом сердце? Дратся я не умею. Тьму твою не пройду — я не родня ей, я ей еда. Я там буду не помощник, а гиря у тебя на ноге, ещё один рот, за который тебе бояться. — Он покачал головой. — Нет. Моя война — здесь, граф. Вот за этим верстаком. Я тебе руку сделал — якорь. Кассии нагрудник. Пока ты там, я тут третью машину доделаю, четвёртую заложу, мальчишек выучу, воду эту проклятую до конца пойму,

чтоб, если ты не дойдёшь... — он осёкся, — чтоб было чем дальше воевать. Каждый на своём месте, граф. Ты — там. Я — тут. Так оно правильное.

Я смотрел на него — на старика с половиной лица, отдавшего мне способ не сойти с ума, оплаченный его собственным безумием, — и думал, что вот он, первый из тех, кто останется. Первый, кто уже начал прощаться. И что таких прощаний у меня впереди будет много, и каждое будет как это: тихое, достойное, с сухими глазами и отвёрнутым к работе лицом.

Я забрал нагрудник для Кассии и железный якорь для себя. Якорь приложил к уху напоследок, тут же, в тихой комнате, где пахло травами Велиссы и горячим оловом.

Он тикал. Ровно. Глухо. Честно.

Пока я слышал его ровным — я был я.

Я вышел в весенний вечер, во двор, к своей груше, неся в руках защиту, собранную из чужого ужаса и чужой любви, — и думал о том, что до похода остаётся всё меньше времени, а разговоров, подобных этому, — всё больше. И что самый тяжёлый из них ещё впереди.

С Рейнаром.

Глава 7. Ведьма

Пока Тамм возился с железом, Велисса возилась с водой.

Они приехали вместе и заняли под своё дело дальнюю комнату — я уже говорил, — и первые дни я к ним почти не совался: у обоих была своя тонкая работа, и оба гнали меня, как гонят из-под руки. Тамм паял и подгонял. Велисса сидела над двенадцатью стеклянными капсулами и колдовала над ними своими травами — не заговорами, не бормотанием, а именно работой: перетирала, настаивала, сливала, пробовала на язык, морщилась, начинала снова. К вечеру у неё дрожали руки и лицо делалось серым, как у Тамма после долгого дня у горна.

На третий день она вышла во двор, села на ступеньку крыльца и сказала:

— Всё. Готово.

И сидела молча минут десять, глядя перед собой, на грушу, и мы её не трогали.

* * *

Грушу она заметила ещё в день приезда.

Подошла, потрогала кору, потрогала тёмный глянцевый лист, поглядела на тонкий ствол.

— Молодая, — сказала. — Года три, не больше. Плодов ещё ждать и ждать. — Она обернулась к Кассии. — Твоя посадка?

— Моя.

— Приживётся, — сказала Велисса. — Крепко стоит. Лет через пять будешь с грушами. — Она усмехнулась. — Если будет кому собирать.

И отошла, не объяснив, к чему это.

* * *

— Слушай сюда, девка, — сказала она потом Кассии. — Про склянки.

Кассия села рядом.

— Их двенадцать. Больше нельзя — я больше не потяну, да и таскать на себе тяжело. — Велисса кивнула на нагрудник, что лежал рядом. — Вода в них живая. Чистая. Не в смысле, что не грязная, — а в смысле, что она **против** той. Обратная ей.

— Понятно.

— Ни черта тебе не понятно, — сказала ведьма. — Слушай дальше. Эта вода не броня. Она не отобьёт удар и не спасёт от твари. Она делает одно: когда чёрная вода в тебя лезет — а она полезет, девка, она будет лезть в тебя каждый час, каждым вдохом, — склянка **берёт это на себя**. Одна склянка — один хороший глоток мерзости.

Она подняла палец.

— И мутнеет. И всё, она больше не работает. Пустая скорлупка.

— Двенадцать глотков, — сказала Кассия.

— Двенадцать, — согласилась Велисса. — А потом мерзость пойдёт в тебя. Не сразу насмерть — сперва просто станешь тихая, добрая и сонная. А потом сядешь. — Она посмотрела на неё. — И останешься сидеть.

Кассия молчала.

— Так что ты их считай, — сказала Велисса. — Считай каждый день. Это твои часы, девка. Как последняя помутнеет — поворачивай назад и беги, не оглядываясь, кто бы что ни говорил и кто бы там за твоей спиной ни оставался.

Она не посмотрела на меня, когда это говорила.

Она вообще на меня старательно не смотрела с самого приезда, и я это заметил.

* * *

Костыли

Перед тем как взяться за меня, она осмотрела то, что сделал Тамм.

Взяла железный якорь, поднесла к уху, послушала. Кивнула.

— Хорошая вещь, — сказала она. — Мёртвая. Это в ней и хорошо. Мёртвого она не подделает — ей мёртвое неинтересно, ей живое подавай.

Потом посмотрела на меня своим долгим рабочим взглядом.

— А теперь слушай, что скажу я, мальчик. Старик тебе дал руку. Я дам голову. — Она села. — Вся эта защита — нагрудник, якорь, мои заговоры — это костыли. Хорошие костыли, честные, они дадут тебе время и опору. Но не обманывайся: там, куда ты идёшь, где эта вода будет не каплей, а всем миром вокруг, — там ни один костыль не устоит долго. Там устоит одно.

— Что?

— То, за что ты держишься по-настоящему, — сказала Велисса. — Не за железку. Не за склянку. За живое. Я тебе перед первым спуском говорила: тонет последним тот, у кого есть за что держаться. — Она смотрела мне в лицо. — Якорь Тамма — это на первое время, пока не запутался. А когда запутаешься совсем, когда вода станет думать твоим голосом так, что не отличишь, — тогда ни один прибор не поможет. Тогда поможет только то, ради чего ты всё это затеял. Лицо. Имя. Тот, кого ты любишь.

Она подалась вперёд.

— Держи это лицо перед собой яснее любого якоря — и дойдёшь. Потеряешь его — и никакой Таммов маятник тебя не спасёт.

* * *

Я подумал о Мире.

И не увидел лица.

Увидел икону. Имя. Факты: восемь лет, кольцо, обещание. Голос, которого больше не помню.

А потом подумал о Кассии — и увидел её ясно, всю, живую, здесь, за стеной, на кухне, где она сейчас гремела чем-то и ругалась вполголоса.

Я промолчал об этом.

Велисса смотрела на меня очень долго.

— Понятно, — сказала она наконец.

— Что тебе понятно?

— Всё, — сказала Велисса. — Дело твоё, милый. Я не твоя совесть.

И больше не спрашивала.

* * *

Осмотр

Она взялась за меня на четвёртый день.

Просто пришла ко мне в комнату, села напротив, сцепила руки на коленях и сказала:

— Ну. Показывай.

— Что показывать?

— То, что у тебя внутри, — сказала Велисса. — Не притворяйся дурачком, граф, у меня мало времени и много лет.

Я открыл — совсем чуть-чуть, на волосок, как открывал ей когда-то.

Ведьма окаменела.

Она сидела, вцепившись в свои колени, и смотрела не на меня, а куда-то сквозь, и лицо у неё делалось всё темнее и темнее, и наконец она сказала — очень тихо:

— Затвори.

Я затворил.

* * *

Мы сидели молча.

— Больше стало, — сказала она наконец.

— Больше.

— Намного. — Она смотрела в пол. — Я тебя смотрела год назад. Тогда там сидел... кусок. Комок. С кулак. — Она подняла глаза. — А теперь оно у тебя везде, милый. Оно во всём теле. Оно с тобой срослось.

— Я знаю.

— Знаешь, — повторила Велисса. — И что делать думаешь?

Я мог соврать.

Не соврал.

— Я думаю пойти в Предел и вобрать в себя семя, — сказал я. — Всё. Целиком.

* * *

Велисса не вскрикнула.

Она вообще ничего не сказала.

Она встала — тяжело, опираясь на стол, — и прошла к окну, и постояла там спиной ко мне, глядя во двор, на грушу.

Потом обернулась.

— Дурак, — сказала она.

* * *

— Ты понимаешь, что ты сейчас сказал? — Она вернулась и села. — Ты понимаешь, о чём ты говоришь?

— Понимаю.

— Ни черта ты не понимаешь. — Она подалась вперёд. — Слушай меня, граф. Внимательно слушай, потому что я скажу это раз, а потом ты пойдёшь и сделаешь по-своему, как все вы делаете.

Она подняла руку и растопырила пальцы.

— Человек — это сосуд. Понимаешь? У него есть **объём**. В него влезает ровно столько, сколько влезает, и ни капель больше. В кувшин можно налить кувшин. В бочку — бочку. В напёрсток — напёрсток.

Она смотрела на меня.

— В тебя уже налито больше, чем полагается человеку. Ты полон, милый. Ты полон до краёв, у тебя эта дрянь стоит вровень с горлом. Я вижу.

— И что?

— И то, — сказала Велисса, — что если ты возьмёшь ещё — **не влезет**.

* * *

— Оно влезет, — сказал я. — Создатель сказал, что я единственный, кто может это сделать. Что во мне уже есть его часть и поэтому я могу вобрать целое.

— Ага, — сказала чародейка. — Вобрать. — Она усмехнулась, и усмешка была нехорошая. — Вобрать-то ты, может, и вберёшь, милый. Я не спору. Раз твой бог говорит, что вберёшь, — значит, вберёшь, ему виднее.

Она наклонилась ко мне.

— А **потом** что?

Я молчал.

— Вот и я о том, — сказала Велисса. — Ты думаешь, дело в том, чтобы взять. Ты весь в этом: как взять, как одолеть, как не сойти с ума, пока берёшь. А про то, что будет после, ты не думал ни разу.

— Что будет после?

— Ты будешь **носить** это, — сказала Велисса. — Всю оставшуюся жизнь. Каждый день. Каждый час. То, чем целый мир травился тысячу лет, будет лежать у тебя в груди — а грудь у тебя человеческая, граф, вот такая. — Она показала ладонями. — Она не растянется.

Она откинулась назад.

— Ты будешь как горн, в который вложили втрое больше угля, чем он держит, — сказала она. — Знаешь, что бывает с таким горном?

— Он взрывается?

— Хуже, — сказала Велисса. — Он не взрывается. Он **прогорает**. Тихо. Изнутри. Кладка трескается по кирпичику, день за днём, а снаружи и не видно, и горн стоит себе и работает, и все довольны.

Она посмотрела мне в глаза.

— А потом однажды садится. Весь. Разом. В один час.

* * *

Я сидел и молчал.

Не потому, что не знал, что сказать. Потому, что сказать было нечего.

— Сколько? — спросил я.

— Не знаю, — сказала Велисса. — Такого не бывало ни с кем. Мне не с чем сравнить. — Она пожала плечами. — Может, два года. Может, десять. Может, месяц. Может, ты вообще там же и ляжешь, у этой своей дряни, и не встанешь.

Она помолчала.

— Но не сорок, милый. Не сорок и не тридцать. Ты не умрёшь стариком.

* * *

— А вылечить? — сказал я. — Ты вытащила Тамма с того света, когда его свела с ума чёрная вода. Все говорили — не жилец. А он живой. Значит, умеешь.

И вот тут ведьма посмотрела на меня так, что мне стало неловко за свой вопрос.

— Тамма, — повторила она. — Да, Тамма вытащила. — Она усмехнулась, невесело. — А знаешь, почему смогла? Потому что у Тамма было тело. Обожжённое, обваренное паром, наглотавшееся дряни — но тело. Живое мясо, живая кровь, в которую можно влить чистую воду и вымыть отраву. Я травница, граф. Я лечу тело.

Она наклонилась вперёд.

— А у тебя болит не тело. У тебя болит то, чему у меня нет ни травы, ни склянки. Семя село в тебя корнем — и это не отравы в крови, которую можно выполоскать. Это ты сам понемногу становишься им. Тут я бессильна. Тут все бессильны.

Она помолчала.

— Один раз я видела, как такое повернули вспять. Один-единственный раз. Твою бело-волосую, на дне, когда она была уже мёртвая, — вытащил не лекарь и не трава. Вытащил **он**. Твой бог. Нарушил своё правило — не лезть руками в этот мир, — влез, для тебя, потому что ты его попросил и потому что был ему нужен. Он сам мне это дал понять, и я до сих пор дрожу, вспоминая.

Она ткнула в меня пальцем.

— **Второго раза не будет.**

— Почему?

— Потому что нельзя дважды, — сказала Велисса. — Не потому, что он злой или тебя разлюбил. А потому, что бог, который начал лезть руками, уже не бог, а просто большая сила, и мир под ним ломается. Он это знает. Он потому и не лезет. — Она откинулась. — Он для тебя сделал исключение, милый. Одно. Ты его потратил на неё.

Она встала.

— И правильно потратил, — сказала она уже мягче. — Я не в упрёк. Я к тому, чтоб ты не надеялся: за тебя он не вступится. Ты пойдёшь и сделаешь это, и никто тебя потом не починит. Ни он, ни я, ни кто.

* * *

Она пошла к двери.

У порога остановилась.

— Граф.

— Что?

— Не ходи, — сказала Велисса.

Она сказала это просто, без нажима, глядя мне в лицо, — и это было страшнее любого крика.

— Ты не обязан, — сказала она. — Ты им ничего не должен, этому миру. Он тебя не звал. Он тебя не спрашивал. Он тебя убил и притащил сюда, и три года гонял по своим ямам. — Она смотрела на меня. — Живи. У тебя тут дом. Женщина. Титул, деньги, друзья, молодая груша во дворе, которую твоя женщина посадила своими руками. Живи сорок лет и умри в постели.

— А мир?

— А мир как-нибудь, — сказала чародейка. — Тысячу лет как-нибудь жил.

— Ещё тысячу не проживёт.

— Не проживёт, — согласилась она спокойно. — Помрёт мир, милый. Это правда. Не завтра, не при нас, но помрёт.

Она пожала плечами.

— Только чинить его будешь не ты, а тот, кто согласится за это сгореть. И я тебе, как ведьма и как женщина, которая на своём веку повидала побольше твоего, честно говорю: **не соглашайся.**

* * *

— Не могу, — сказал я.

— Почему? — Она прищурилась. — Из-за мира? Не ври мне, граф. Тебе на этот мир, если по правде, наплевать. Ты его спасаешь по дороге, а идёшь ты к своим.

— Да, — сказал я. — Наплевать. Я иду к своим.

— Ну и?

— А другой двери нет, — сказал я.

Велисса долго смотрела на меня.

— Вон оно что, — сказала она. — Понятно.

Она кивнула — медленно, несколько раз, как кивают, когда всё сходится.

— Тогда иди, — сказала Велисса. — Тогда, конечно, иди. Раз дверь одна — какой уж тут разговор.

* * *

Кассия

Она пробыла у нас ещё день.

И вечером, перед отъездом, я услышал из кухни голоса — Велисса разговаривала с Кассией, и говорила негромко, и я, как последний подлец, остановился в сенях и стал слушать.

— ...девка, слушай меня. Я тебе скажу, что с ним будет.

— Не надо, — сказала Кассия.

— Что значит не надо? Ты идёшь с ним. Ты должна знать...

— Не надо, — повторила Кассия. Твёрдо. — Не говори мне.

Молчание.

— Почему? — спросила Велисса.

— Потому что он мне сам скажет, — сказала Кассия. — Когда решит. Это его. Не моё. — Голос у неё был ровный. — Если ты мне сейчас расскажешь, я буду ходить и знать про него то, чего он мне не говорил. И смотреть на него, зная. И жалеть его втихую.

Пауза.

— А он этого не вынесет, — сказала Кассия. — И я не вынесу.

Ведьма что-то проворчала.

— Дура ты, — сказала она. — Или умная. Не разберу.

— И то и другое, — сказала Кассия. — Наливай.

* * *

Велисса уехала на другое утро.

Тамм оставался — ему ещё было чем заняться в Грейфолле, — а её увозил обратно в столицу молчун-возница на лёгкой машине, из тех, что я держал при своей станции. Она забралась на сиденье, устроилась, оглядела с высоты наш двор, грушу, дом, оружейную стену, видную через раскрытую дверь, — и вдруг сказала:

— Хороший у вас дом.

— Спасибо, — сказала Кассия.

— Жалко, — сказала ведьма.

И укатила, не объяснив, чего именно.

Машина фыркнула паром, тронулась, и скоро от неё остался только тающий над трактом дымок.

Глава 8. Трещина

Нагрудник Тамма Кассия примерила в тот же вечер, как уехала Велисса, — деловито, без всякого трепета, как примеряют новый доспех перед боем.

Я разложил на столе то, что принёс из мастерской: лёгкий кожаный нагрудник с капсулами чистой воды вдоль груди и на запястьях — для неё; тяжёлый железный маятник — для себя. Кассия взяла нагрудник, повертела, оценила крепления опытной рукой человека, который всю жизнь носит на теле оружие и снаряжение и знает цену каждой пряжке. Надела. Подвигала плечами, проверяя, не мешает ли замаху. Провела ладонью по капсулам на груди.

— Лёгкая, — сказала она одобительно. — Старик умеет. Не стесняет. — Она сделала пробное движение, будто уходя от удара, потом другое, будто нанося. — И под клинки не лезет. Хорошо продумал. — Помолчала, глядя на капсулы. — Что тут внутри?

— Чистая вода. На травах Велиссы. Тамм говорит — как своя земля под ногами на чужбине. Не спасёт совсем, но даст время.

— Время. — Кассия сказала это ровно, но что-то в её голосе на этом слове дрогнуло. — Время до чего, Адам?

Я не ответил сразу.

— Ты опять решил, что должен что-то мне объяснить, — сказала она, глядя на меня. — Целый вечер ходишь вокруг, как кот вокруг горячего. Я же вижу. Ну, говори, раз собрался. Только не то, что ты, я думаю, собрался.

— А что я, по-твоему, собрался?

— Каяться, — сказала Кассия просто. — Что уйдёшь домой. Что у той двери выберешь не меня. Что тащишь меня в мёртвую землю, а сам знаешь: дойдёшь до сердца — и в дверь, к жене, к сыну, а я останусь тут вдовой без мужа. — Она чуть усмехнулась, без злости. — Так вот, герой. Не трудись. Я это знаю. Знаю давно, дольше тебя.

Я молчал.

— Я тебе ещё в столице сказала, — продолжала она, — и повторю один раз. Я не спрашиваю у тебя того, чего ты не можешь дать. Я знаю про кольцо на шнурке. Знаю про Миру. Знаю про сына. Знаю, что дорога, которой мы идём, ведёт тебя прочь — домой или в никуда, но прочь от меня. Всё это я знаю и давно с этим сплю в одной постели. Мне хватает, что ты здесь. Мне этого правда хватает, Адам, — и не делай такое лицо, будто тебе меня жалко. Жалко ему.

Она сказала это спокойно, и я понял, что она не рисуется. Она вправду это давно приняла — раньше меня, пока я мучился, она уже всё решила и сложила.

И всё-таки — я слишком хорошо её знал — это спокойствие ей чего-то стоило. Она сидела очень прямо, руки на столе, пальцы чуть сжаты. Так она держалась перед боем, когда нельзя было показать страх, чтобы не заразить им других. Она и сейчас держала лицо — не для двора, для меня. Чтобы мне было легче. И от того, что она делала это для меня, у меня перехватывало горло сильнее, чем от любых слёз.

— Тогда что не так? — сказал я тихо. — Я же вижу — что-то не так. Ты вон пальцы стиснула.

Она посмотрела на свои руки. Разжала их — нарочно, медленно, как разжимают через силу.

— Ишь, — сказала она без улыбки. — Читаешь. Научился.

Кассия помолчала. И вот теперь ушла с лёгкого тона — стала серьёзной, той серьёзностью, что была страшнее любой вспышки.

Она помолчала. Долго. Собиралась — я видел, как собирается, как складывает слова, которые, наверное, не раз проговаривала про себя ночами, пока я спал рядом и думал, что она спит.

— Не так вот что, — сказала она наконец. — Я не боюсь, что ты уйдёшь домой. Правда не боюсь, Адам, поверь мне хоть в этом. Уйдёшь — значит, дошёл, значит, всё было не зря, и я тебя сама в ту дверь подтолкну, если будешь мяться на пороге. — Она подалась вперёд, и голос у неё сел. — Я боюсь другого. Того, о чём тебе не скажет больше никто, потому что никто, кроме меня, этого про тебя не знает.

Она посмотрела мне в глаза.

— Я боюсь, что домой вернёшься не ты.

Я не понял.

— Объясни.

* * *

— Я эту дрянь знаю, — сказала Кассия. — Чёрную воду. Видела, что она делает с людьми. Видела, что она делает с тобой. — Она сглотнула. — Ты не помнишь, а я помню. На тридцать четвёртом, у чёрного берега. Ты стоял и смотрел на воду, и я тебя окликнула — раз, другой, — а ты не обернулся. И лицо у тебя было... не твоё. Пустое и счастливое разом, как у человека, который наконец услышал, что его зовут по имени домой. Я тебя тогда за ворот оттащила — молча, как всегда, — и ты очнулся и посмотрел на меня, будто не понимал, кто я. Одну секунду — не понимал. — Она перевела дыхание. — Вот эту секунду я с тех пор и вижу каждую ночь. Как ты смотришь на меня и не узнаёшь.

Она встала, прошла мимо оружейной стены к окну, за которым темнел сад с грушей. Постояла спиной ко мне.

— Там, в мёртвой земле, этой дряни будет не капля и не море, — сказала она, не оборачиваясь. — Там её будет столько, что она станет воздухом. И она будет грызть тебя каждый шаг, день за днём, неделю за неделей. И я боюсь, Адам, что к сердцу дойдёт не тот человек, который вышел из дома. Что она отъест от тебя по кусочку — тихо, незаметно, — и до двери доберётся кто-то с твоим лицом, с твоей памятью, но пустой внутри. Не ты. И вот этот — пустой — шагнёт в дверь, придёт домой к твоей Мире, обнимет твоего сына... а тебя там уже не будет. Ты останешься в мёртвой земле, растворённый в чёрной воде по капле.

Она обернулась.

— Вот чего я боюсь. Не двери. Двери я не боюсь — иди в свою дверь, ты заслужил. Я боюсь, что до двери дойдёт не тот, кого я вела.

* * *

Я молчал, потому что она сказала вслух то, чего я сам себе не решался сказать. Это и был мой настоящий страх — не выбор у двери, а то, что выбирать будет уже некому.

— Поэтому я иду с тобой, — сказала Кассия. — Не для того, чтобы отговорить. Не для того, чтобы у двери встать между тобой и домом — не встану, слово даю. Я иду, чтобы довести до этой двери **тебя**. Настоящего. Того, кто ещё умеет выбирать. Моё дело — держать тебя человеком всю дорогу: смотреть в глаза, не чёрные ли, класть ладонь на грудь, бить по лицу, если понадобится, держать за ворот над каждой ямой. Твоё дело — дойти и выбрать. А выберешь домой — значит, домой. Это будет честный выбор честного тебя, и я его приму.

Она села рядом — не напротив, рядом. Взяла мою руку, и я почувствовал, что её ладонь чуть дрожит — та самая рука, что не дрожала ни на одном ярусе, ни под одним ударом.

— Об одном прошу. — Она смотрела не на меня, а на наши руки. — Не решай за меня. Не смей решать, что мне делать, когда ты уйдёшь. Останусь я тебя оплакивать, или найду себе жизнь, или ещё что — это моё, не твоё. Ты решаешь только за себя: дойти собой и выбрать. За меня решать не смей.

— Договорились, — сказал я.

— Поклянись. — Она подняла глаза, и в них наконец было то, что она весь вечер держала взаперти: не гнев, не обида — страх. Голый, честный страх за меня. — Поклянись, что дойдёшь

собой. Что не дашь ей себя размыть. Что до двери доберёшься ты, а не то, во что она тебя обратит. Мне всё равно, в какую дверь ты войдёшь, слышишь, — только войди в неё сам.

— Клянусь, — сказал я. И это была единственная клятва за весь тот вечер, которую я дал, — и единственная, которую боялся не сдержать.

* * *

Мы просидели так до глубокой ночи — рядом, рука в руке. Ничего не «решилось», потому что решать было нечего: она не требовала выбора, она требовала, чтобы я дошёл живым и собой. Это оказалось и легче, и тяжелее всего, что я себе напридумывал за этот месяц.

Я обнял её, и она не отстранилась, и мы уснули так, поздно, обнявшись, — двое, которые знают, что дорога может развести их навсегда, и всё равно держатся друг за друга, пока она не развела.

Утром Кассия встала первой — как всегда, собранная, с ясными глазами, будто и не было ночного разговора. Она уже точила клинки у оружейной стены, когда я проснулся.

— Вставай, герой, — сказала она, не оборачиваясь. — Дел много. Тебе ещё с Рейнаром говорить, я знаю, ты откладываешь. А поход ждать не будет. — Она провела оселком по лезвию. — Поговорили — и хватит. Дальше живём и делаем, что должно.

Я смотрел на её прямую спину, на пепельные волосы, на руки, знающие клинок, и думал, что люблю её невыносимо, вот сейчас, живую. И что теперь у меня есть не только своя ноша — дойти и выбрать, — но и её страх, который я обязан не оправдать. Дойти собой. Не дать чёрной воде подменить меня по дороге.

Это, как ни странно, было проще, чем нести всё то, что я нёс до этого разговора. У страха теперь было имя и было дело. А с тем, у чего есть имя и дело, я умел управляться.

Оставалось дойти. И дойти — собой.

Но сначала — Рейнар.

Глава 9. Выбор Рейнара

Рейнар пришёл в Грейфолл за три дня до того, как я собрался к нему с самым тяжёлым своим разговором.

Я увидел их с западной стены, куда поднялся поглядеть на учения караула. Сначала — дым: далеко на тракте, у самого края, где дорога уходит в холмы, встал столб бурого дыма, слишком густой и слишком ровный для костра. Потом из-за холма выползла голова колонны, и я узнал то, что узнал бы из тысячи, потому что сам это нарисовал.

Машины.

Их было пять. Не искроходы — те лёгкие, юркие, на двоих-троих. Это были другие: длинные, тяжёлые, сцепленные из короба и котла, с высокими колёсами в рост человека и медной трубой, плюющей паром. То, что я когда-то, ещё до дна, чертил ночами в Академии наук и не знал, доживу ли увидеть: не повозка, а тягач, способный тащить за собой поклажу целого обоза. Пока меня не было, Академия достроила их по моим наброскам — и вот они ползли к моему городу, пять железных зверей, дыша дымом, и земля под ними подрагивала.

Четыре тащили войско и то, что войску нужно: разобранные баллисты, связки копий, бухты каната, окованные сундуки. На платформах и между ними шли люди — пехота, лучники, десяток верховых по бокам. Я прикинул на глаз: около сотни. Не полк, не армия — крепкий отряд, из тех, что фронтир может принять, не надорвавшись. Пятая машина, замыкающая, шла тяжелее прочих, осев на рессорах: припас. Мешки, бочки, солонина, зерно, овёс коням — всё, чем сотня лишних ртов ляжет на город, и без чего эту сотню в голом фронтире не прокормить.

Я смотрел, как они подходят, и во мне мешалось разное. Гордость мастера — вот оно, моё, поехало, повезло, потащило. И холодок — потому что я рисовал эти машины, чтобы возить хлеб и спасать людей, а первое, что они привезли к моим стенам, была война.

Впрочем, войну они привезли, чтобы её выиграть. Так я себе сказал. И пошёл со стены вниз — встречать.

* * *

Грейфолл встретил войско, как встречает всякий малый город неожиданный гарнизон: с опаской, любопытством и немедленной головной болью насчёт того, где всех разместить.

Сотня человек — это сотня человек. Их надо расселить, накормить, дать где спать, где чинить снаряжение, куда девать лошадей. Постоялый двор Бренны забили под крышу. Пустые амбары у станции превратили в казармы. Часть встала лагерем прямо за южной стеной, у машин, и к вечеру там горели костры, пахло кашей и конским потом, и над лагерем стоял ровный гул сотни мужчин, какого Грейфолл не слышал никогда. Кассия, глянув на всё это со двора школы, сказала только: «Ну, теперь мои щенки хоть посмотрят на настоящих солдат. Полезно». И ушла гонять своих дальше.

А во главе всего этого стоял Рейнар.

Король, едва до столицы дошли первые вести Эрвейна о том, что Орден стягивает силы к фронтису, послал сюда лучшего из своих новых командиров — и дал ему войско и машины, чтобы дойти быстро. Рейнар дошёл за неполную неделю там, где обоз плёлся бы месяц. Он был здесь уже три дня, обживал оборону, объезжал стены, считал, прикидывал, — делал ровно то, ради чего король дал ему чин.

И вот к этому Рейнару — командующему, при войске, при деле, — я и шёл со своим разговором.

Шёл, зная, что должен сломать ему то, ради чего он полгода назад отказался от королевской милости.

Это был единственный разговор из всех, что предстояли мне перед походом, которого я по-настоящему боялся. С королём было тяжело, но там я приносил государю неизбежность, и

он принял её как государь. С Таммом было горько, но старик сам решил остаться. С Кассией было больно, но там боль была общая, и мы несли её вдвоём. А тут я шёл просить друга о том, что было против всего, что он есть.

Той зимой, на приёме, где мне давали графскую цепь, а Рейнару — высокий военный чин, король предложил ему службу в столице: полк, гарнизон, покой. Всё, о чём мечтает солдат к концу пути. А Рейнар отказался — при полном тронном зале, дерзко, на грани приличия. Сказал, что у него в Колодце команда, двое, с которыми он ходит за край карты, и бросить их сейчас — дезертирство, как ни назови. Попросил дозволения принять чин, а службу при нём начать позже. Когда мы закончим дело. Если закончим.

И вот я шёл сказать ему: не начинай позже. Начинай сейчас. Останься здесь. Не иди с нами в Предел.

Против всего, что он тогда выбрал. Против его слова, данного в тронном зале. Против его сути — верного, который не бросает своих. Я шёл просить Светлого Клинка стать тем, кем он отказался быть той зимой, — и не знал, какими словами это сделать, чтобы не оскорбить.

Потому что причина была простая и оскорбительная: он мне нужнее здесь, чем в мёртвой земле. В мёртвой земле от него не будет проку — в Предел ему хода нет, чёрная вода не пустит человека без родной тьмы, он утонет в ней, как утонул бы Тамм. А здесь, пока я в Пределе, кто-то должен держать войну. Настоящий командир, которому доверяет армия, которого знает король, который вытянет фронт. И такой человек у меня был один. Мой лучший друг. Которого я должен был оставить, уходя туда, куда он всю жизнь рвался идти со мной.

Я репетировал этот разговор всю дорогу и не придумал ничего, что не звучало бы как предательство.

* * *

Рейнара я застал во дворе дома, отведённого ему под штаб, — и застал за делом, от которого у меня всё внутри опустилось.

Он собирал снаряжение. Для похода.

На расстеленной холстине лежало разложенное по порядку: крепкие сапоги, мотки верёвки, наконечники, точильные камни, фляги, сушёный припас — всё то, что мы брали с собой в Колодец десятки раз, только фляг было втрое больше обычного: он уже знал, что там, куда мы идём, воды не будет. Рейнар стоял над этим добром на коленях, придирчиво перебирал, откладывал негодное, и лицо у него было такое, какого я не видел у него давно, — светлое. Предвкусующее. Лицо человека, который наконец дождался, что кончилось безделье, что снова в поход, снова за край, снова втроём.

— А, бронза! — Он поднял голову, увидел меня и расплылся. — Вовремя. Смотри, я тут ревизию устроил. Половину снаряги за зиму мыши погрызли, представляешь, боевой запас Светлого Клинка — и мыши. Позорище. Но я уже новое заказал, к походу всё будет. — Он поднял моток верёвки, показал. — Вот эту помнишь? С ней тебя на тридцать пятом вытаскивали, когда ты в расщелину съехал. Хорошая верёвка. Проверенная. Её беру обязательно.

Я стоял и смотрел на него, стоящего на коленях над снаряжением, счастливого, готовящегося идти со мной в мёртвую землю, — и не мог выговорить ни слова из того, что репетировал. Каждое слово застревало. Как сказать человеку с таким лицом: положи верёвку. Ты не идёшь.

— Рейнар, — начал я и остановился.

Он что-то услышал в моём голосе. Поднял глаза внимательнее. Улыбка на его лице дрогнула, но ещё держалась.

— Что? — сказал он. — У тебя лицо человека, который пришёл сообщить, что похороны переносятся. Что стряслось?

— Нам надо поговорить. Про поход.

— Ну так говори. — Он сел на пятки, вытер руки. — Только если ты пришёл сказать, что уходите без меня, потому что там опасно, — не трудись. Мы это уже проходили, зимой,

в тронном зале. Я тебе тогда что сказал? Моя команда — вы двое. Я с вами. Точка. Опасно — значит, тем более с вами.

И вот здесь, когда он сам, с ходу, повторил то самое, ради чего тогда восстал против короля, — я понял, что не смогу. Что не выговорю просьбу остаться. Что легче мне будет взять его с собой, зная, что он там сгинет впустую, чем сломать вот это его — верность, из-за которой он и есть Рейнар.

Я малодушно молчал. И, наверное, промолчал бы, и всё сложилось бы хуже, — если бы в эту минуту во двор не влетел всадник.

* * *

Гонец был королевский — я узнал ливрею, — и загнанный: лошадь в мыле, сам серый от пыли, значит, гнал без остановки. Он осадил коня у ворот, спрыгнул, увидел Рейнара и меня, шагнул к нам, доставая из-за пазухи запечатанный пакет.

— Господину командующему, — выдохнул он. — Срочно. Из столицы. От маркиза Эрвейна через короля.

Рейнар поднялся с колен — уже не тот, что перебирал верёвки минуту назад, а другой, собранный, командир. Взял пакет, сломал печать, развернул. Стал читать.

Я смотрел, как меняется его лицо. Как уходит с него свет, как проступает то, что я редко на нём видел, — тяжесть человека, отвечающего за живых людей. Он дочитал, опустил лист, постоял, глядя в никуда. Потом протянул пакет мне.

— Читай, — сказал он глухо. — Тебя это касается тоже.

Я прочёл. Эрвейн, оставшийся в столице вести тайную войну, доносил коротко и страшно: Орден кончил стягиваться и выступил. То, что до сих пор медленно сходилась к фронтиру со всех сторон — наёмные отряды, фанатики, вооружённые копатели, обозы с оружием, — сдвинулось разом и пошло. Цель прежняя, теперь уже открытая: Грейфолл. Ключ ко всему фронтиру, к дыре, к добыче чёрной воды. По расчёту Эрвейна — считанные недели, может, дни, прежде чем первые их отряды выйдут к южным подступам. Он писал, что медлить больше нельзя ни часу: либо командующий берёт войско в руки сейчас и готовит город к осаде, либо, когда Орден подойдёт, оборонять будет уже поздно и некому.

Я дочитал и поднял глаза на Рейнара.

Он смотрел на своё разложенное снаряжение — на верёвку, с которой меня вытаскивали на тридцать пятом, на фляги, на всё это добро для похода, которого не будет. Смотрел долго. Потом медленно, очень медленно, расстегнул и снял пояс — свой командирский пояс, с которым собирался идти с нами, — и положил его на холстину, поверх снаряжения.

— Значит, вот как, — сказал он тихо. — Вот, значит, как оно решается.

— Рейнар...

— Погоди. — Он поднял руку. — Дай сказать. Я это скажу один раз, а то потом не смогу.

Он выпрямился и посмотрел на меня — прямо, ясно, и в глазах у него была боль, но не было ни капли колебания.

— Я зимой сказал королю: моя команда — вы двое. Помнишь? Гордился собой, дерзил государю, чувствовал себя верным до последнего. — Он усмехнулся, невесело. — А теперь читаю вот это, — он кивнул на пакет в моих руках, — и понимаю, что был мальчишкой с красивыми словами. Потому что за эти полгода у меня, оказывается, стала другая команда, Адам. Больше. Раньше моей командой были вы двое. — Он обвёл рукой на юг, туда, где сходились к Грейфоллу силы Ордена. — А теперь их несколько сотен. Сотня солдат, которых мне дал король. Люди Грейфолла, которых я знаю по именам. Финн и мальчишки из Кассиной песочницы. Бренна. Весь фронт, который поднимется, если Орден пойдёт на них, и который ляжет весь, если им не будет кому командовать. Это теперь моя команда. И она больше не помещается в двух человек, как бы я их ни любил.

Он замолчал. Я молчал тоже, потому что понимал: происходит то, ради чего я шёл, — но происходит само, его волей, а не моей просьбой. Он снимал с меня самую тяжёлую тяжесть этого возвращения — необходимость просить. Делал за меня то, что я не смог выговорить.

— Ты ведь за этим пришёл, — сказал Рейнар. Не спросил. — Просить меня остаться. Я видел по твоему лицу, ещё когда ты вошёл. Ты весь извёлся, пока шёл, придумывал слова. Да?

— Да, — признал я. — За этим. И не смог.

— И не надо. — Он положил мне руку на плечо. — Не надо, Адам. Ты хороший друг, раз тебе это далось так тяжело. Но ты плохо считаешь, когда дело касается людей, а не ярусов. Тебе не нужно было меня просить. Мне нужно было просто прочитать вот это. — Он снова кивнул на пакет. — Я командир. У меня чин, который я зимой взял, а служить при нём отказался. Так вот — время служить пришло. Ты идёшь в Предел спасти мир. А я останусь здесь и сделаю так, чтобы было куда тебе вернуться. Чтобы был Грейфолл. Чтобы был фронт. Чтобы, когда ты выйдешь из Предела — раненый, выжатый, какой угодно, — тебя встретила не пустошь, выжженная Орденом, а живые люди и твой король. Вот моя война, Адам. Она не хуже твоей. Она просто другая.

* * *

Мы стояли во дворе, двое, над разложенным походным снаряжением — тем самым, что он собирал, чтобы идти со мной в Предел, и которое теперь останется в Грейфолле, как остаётся он сам, — и я думал, что это, наверное, и есть то, что называют взрослением, — когда человек перерастает собственную верность одному ради ответственности за многих. Той зимой Рейнар выбрал двоих против целого мира. Сегодня он выбрал мир — и это был не отказ от нас, а рост из нас. Он не бросал меня. Он вырос настолько, что смог отпустить меня туда, куда сам всю жизнь рвался идти рядом.

— Знаешь, что самое обидное? — сказал он вдруг, и в голосе прорезалось что-то от прежнего Рейнара, лёгкого. — Что вы с Кассией пойдёте в самое интересное место за всю нашу службу — в сердце этого вашего Предела, куда ни один живой не ступал, — а я буду командовать обозами и считать копы. Я, Светлый Клинок. Обозы. — Он покачал головой. — Расскажешь потом, ладно? Если... — он запнулся, и лёгкость ушла, — если будет кому рассказывать. Расскажешь, что там, в сердце. Я хочу знать, за что мы всё это.

— Расскажу, — сказал я. И мы оба знали, что, скорее всего, не расскажу, — потому что если я дойду до сердца и сделаю, что должен, то уйду в дверь и мы больше не увидимся. Но мы оба сделали вид, что это возможно. Есть вещи, которые говорят не потому, что они правда, а потому, что без них нельзя расстаться.

— Береги её, — сказал Рейнар тихо. — Кассию. Там. Я знаю, она сама кого хочешь сбережёт, но... ты понял. Она идёт за тобой в место, откуда для неё нет дороги домой, потому что её дом — здесь. Помни это, Адам. Что бы там ни было в твоей голове с двумя домами — а я не слепой, я вижу, что там у тебя творится, — помни, что она оставляет своё ради тебя. Не заставь её пожалеть.

— Не заставлю.

— И ещё. — Он посмотрел на меня, и это был последний раз за разговор, когда он позволил себе быть не командиром, а другом. — Если дойдёшь и уйдёшь в свою дверь — уходи не оглядываясь. Не мучай ни себя, ни нас долгими прощаниями. Ты своё здесь отслужил с лихвой, ты этому миру ничего не должен, ты нам всем дал больше, чем брал. Найди своих там, за краем. Обними сына. И живи, Адам. За нас всех, кто останется, живи. Это приказ. Единственный, который я тебе, графу, могу отдать, — как командир командиру.

Я обнял его. Крепко, как обнимают в последний раз, хотя до последнего раза было ещё далеко, — но мы оба уже знали, что этот двор, это снятое снаряжение, этот летний вечер — начало конца нашего общего пути. Дороги наши пока не разошлись: впереди было ещё несколько недель в одном городе — готовить Грейфолл к осаде, укреплять стены, ждать Орден

плечом к плечу. Но дальше, когда я выступлю на восток, в Предел, они разойдутся насовсем. Он останется здесь — держать этот город, эту стену, этот живой мир. Я уйду туда, откуда не шлют писем, — за дверь домой. Каждый на свою войну.

— Иди, граф, — сказал Рейнар, отстраняясь и пряча лицо. — У тебя ещё дел по горло, а мне снаряжение перебирать заново — теперь армейское, не походное. И вот что. — Он усмехнулся, и в усмешке была вся его прежняя лёгкость, надетая поверх боли, как надевают латы. — Дойди до своего сердца, Адам. Сделай, что должен. И знай, что, пока ты будешь там драться за свою дверь, здесь за тебя будет драться Светлый Клинок с сотней солдат и всем Грейфоллом. Мы не подведём. Держи свой фронт — а мы удержим наш.

Я ушёл со двора Рейнара в темнеющий вечер, и на душе у меня было тяжело и светло разом. Тяжело — потому что я потерял спутника, с которым прошёл два года и весь Колодец. Светло — потому что не я его оставил и не я его сломал: он сам вырос из нашей троицы во что-то большее и сам отпустил меня, избавив от вины.

Две войны развелись окончательно. Здесь оставался Рейнар — теперь я знал, в чьи руки отдаю мир, который покидаю. А в дорогу шли мы с Кассией — двое, и трещина между нами, и путь к сердцу мёртвой земли.

Троих больше не было. С этого вечера нас было двое в походе и один на войне — и каждый шёл на свою войну.

Оставалось выйти.

Глава 10. Первый удар

Одо объявился за пять дней до нашего выхода — тихо, как делал всё. Он и так был в Грейфолле, вёл свой вечный счёт при станции и конторе, но на глаза не показывался неделями, и первым знаком, что он меня ищет, стала записка под порогом однажды утром: «Надо повидаться. Дело есть. Найду сам». Ни подписи, ни адреса. Одо не оставлял адресов.

Он был начальником моей тайной службы — если можно назвать службой то, что держалось на нём одном да на горстке молчаливых людей, которых он растил под себя годами. С моего возвращения в Грейфолл Одо плёл невидимую сеть вокруг всего, что я делал: слежку, встречные проверки, чистоту каналов, тайники. Это он вытащил из тайника последнюю книгу Кесса. Это его безупречной работой Орден когда-то и вычислил нашего магистра — потому что честные конторы не бывают безупречны, а наша была, и эта безупречность нас выдала. Одо тогда воспринял это как личное поражение — единственный раз, когда я видел его задетым, — и с тех пор работал ещё тише, ещё незаметнее, будто вычёркивая себя из мира окончательно.

Он нашёл меня сам, к вечеру, — возник у оружейной стены, где я проверял снаряжение к походу, так, будто был там всегда, и я вздрогнул, хотя вздрагиваю редко.

— Не выходите пока, граф, — сказал он вместо приветствия. — Дайте мне три дня. Что-то готовится.

— Что?

— Не знаю точно. — Одо был из тех, кто никогда не говорил больше, чем знал, и это делало его донесения бесценными. — Но Магнус зашевелился. Всю зиму сидел тихо, читал вашу почту, докладывал своим — ровно, по расписанию, я это отслеживаю. А последние дни — иначе. Встречи чаще. Люди новые, каких я у него раньше не видел. И главное — он больше не ждёт. Всю зиму Орден вас пас, следил, готовился неспешно. А теперь спешит. Будто у них кончилось время.

— У них и кончилось, — сказал я. — Они знают, что я вот-вот уйду в Предел. А если я уйду в Предел и дойду — им конец. Значит, у них осталось одно окно. Пока я здесь.

Одо посмотрел на меня — своим ровным, ничего не выражающим взглядом, за которым работал ум острее моего в его ремесле.

— Вы поняли это так же быстро, как я, — сказал он. — Тогда вы поймёте и остальное. Если у них одно окно — пока вы здесь, до похода, — то они попробуют закрыть его единственным надёжным способом. Не задержать вас. Убить. До того, как вы уйдёте. — Он выдержал паузу. — Я здесь за этим, граф. Не дать им это сделать. Дайте мне три дня — я вскрою, как они это готовят, и мы их упредим.

Я дал ему три дня. Это была ошибка, но не его — моя. Я думал, у нас есть три дня.

У нас их не было.

* * *

Удар пришёл на второй.

Я возвращался вечером от Тамма — старик засел в мастерской при станции, доделывал последнее к походу, и я забирал у него готовое. Шёл пешком, как ходил всегда, — граф я или нет, а привычка не сажать себя в карету, где ты слеп и заперт, осталась во мне от прежней жизни и от Колодца. Улица шла тихая, окраинная, сумеречная — Грейфолл в этот час затихал. Я был один: по своему городу, в двух шагах от дома, я не думал, что мне нужна охрана. В этом и была моя ошибка. Я думал о походе.

Одо возник впереди — на перекрёстке, в тени, — и я понял, что дело плохо, раньше, чем он открыл рот, потому что Одо не показывался на улице. Никогда. Если он вышел из тени сам, среди бела вечера, на открытое место — значит, времени на скрытность не осталось.

— Назад! — крикнул он, и это было впервые за всё наше знакомство, когда я услышал, чтобы Одо повысил голос. — Граф, назад, это ло...

Он не договорил.

Дальше всё случилось быстро, как случается всё настоящее, — без предупреждения, без красоты, за несколько ударов сердца, которые я потом разбираю по частям много ночей.

Из двух переулков по обе стороны улицы — спереди и сзади — вышли люди. Не наёмный сброд: я увидел это сразу, по тому, как они двигались, — слаженно, молча, беря нас в коробку. Шестеро, может, восемь. У переднего в руке была не сталь — я успел заметить, — а короткая трубка, из тех, что мечут дротик или иглу. Отравленную, понял я мгновенно, потому что убивать графа посреди города клинком — шумно и глупо, а вот игла в шею в вечерних сумерках — это несчастный случай, внезапная хворь, никто ничего не видел.

Одо вышел из тени не ко мне. Он вышел к ним. Он с самого начала знал, где они, — он вскрыл засаду, вычислил её, пришёл раньше, — и единственное, чего он не успел, это предупредить меня загодя, тихо, как он всё делал. Ему пришлось делать это на бегу, голосом, в открытую. И он выбрал не спрятать меня — на это не было секунд, — а встать между мной и трубкой.

Человек с трубкой вскинул руку. Одо был уже там — между ним и мной, — и то, что предназначалось моей шее, вошло ему в шею. Я увидел, как он дёрнулся. Как коротко, удивлённо поднял руку к горлу. И как начал падать — сразу, всем телом, потому что то, что было на игле, не оставляло времени.

Дальше я не думал. Тьма за рёбрами, молчавшая с самого дна, проснулась в одно мгновение — не зовом, а яростью, — и я выпустил её ровно настолько, чтобы драться. Один, в тесной сумеречной улице, против восьмерых — и всё же это они должны были бояться, а не я. Я взял их быстро и страшно, и я не горжусь тем, как это было, потому что это была не битва, а бойня, и вёл её во мне не человек. Двоих я взял живыми, оглушив, — привычка, вбитая за годы: живой язык дороже мёртвого врага. Остальные легли.

А потом я был на коленях над Одо.

* * *

Он ещё дышал, когда я до него добрался. Яд на игле был силён, но не мгновенен — он убивал за минуту, может, за две, и эти минуты Одо потратил на то, чтобы смотреть на меня и говорить, хотя каждое слово давалось ему всё труднее.

— Взял... засаду... — прошелестел он. — Позавчера вскрыл. Хотел... упредить тихо. Не успел. Они... сдвинули срок. На сегодня. Я узнал за час... бежал...

— Молчи, — сказал я. — Не трать себя. Молчи, Одо.

— Нет. — Даже сейчас он остался собой — экономным, точным, отдающим последнее донесение, потому что донесение важнее его жизни, так он был устроен. — Слушайте. Магнус... не сам. Ему приказали... сверху. Резко, срочно... я видел, к нему приезжал... человек. Позавчера. В капюшоне. Не здешний. Дорожный, издалека... по пыли, по выговору. Правую руку... держал у груди. Не разжимал.

Я похолодел. Тот же человек. Капюшон, невоинская повадка, правая рука у сердца — тот самый, что стоял у дыры в новолуние и ждал меня. Он был здесь. В Грейфолле. Он приехал и отдал приказ убить меня до похода — и уехал, а Магнус исполнил.

— Он здесь, — сказал я. — Одо, он в Грейфолле. Ты видел его. Куда он...

— Не знаю, — выдохнул Одо. — Приехал... уехал... я не вёл, не успел, я был на засаде... — Его глаза начали мутнеть. — Простите, граф. Первый раз... не довёл дело. Первый раз за... — Он не договорил. Рука его, лежавшая на моей, ослабла.

— Ты довёл, — сказал я ему, тихо, наклонившись к самому лицу, чтобы он услышал, пока ещё мог слышать. — Слышишь? Ты довёл дело до конца. Ты вскрыл засаду. Ты пришёл. Ты меня закрыл. Я жив, Одо, — ты сделал своё дело так, как никто бы не сделал. Слышишь меня?

Не знаю, услышал ли. Его глаза смотрели уже мимо меня, в темнеющее небо над столичной улицей, и через несколько вздохов дышать он перестал.

Я стоял над ним на коленях, на мостовой, в вечерних сумерках, среди тел, — граф, золотой искатель, человек, дошедший до дна мира, — и не мог ничего. Совсем ничего. Одо был мёртв, и никакая тьма, никакая сила, никакой Создатель не отдавали таких долгов обратно. Даже Велисса здесь бы не помогла. И правило своё бог нарушил один раз — я знал это твёрдо, — и больше не нарушит.

Одо умер, спасая меня, за три дня до того, как я должен был уйти навсегда.

* * *

Двух живых, которых я взял, Рейнар допрашивал в ту же ночь — своими средствами, быстро и без жалости. Они знали мало: низовые ножи, наёмные руки, им заплатили и указали, кого и когда. Но одно из того, что из них вытрясли, стоило всего: заказ пришёл срочно, спешно, с приказом сделать всё **до новолуния**. Опять новолуние. Как тогда, у дыры. Кто-то в Ордене привязывал важное к безлунным ночам — то ли по вере, то ли по расчёту, — и это была ещё одна крупица знания о враге, оплаченная жизнью Одо.

Рейнар пришёл ко мне под утро — застал в пустой комнате, где я сидел один. Он уже всё знал. Он и сам знал Одо — не близко, но знал, как знают в общем деле незаменимого человека, которого не видно, пока он есть.

— Одо, — сказал он. Не спросил.

— Да.

Рейнар сел напротив, тяжело, как садятся после долгой ночи.

— Я мало его знал, — сказал он. — Его никто толком не знал, в этом всё и дело. Тихий был. Незаметный. Но я тебе так скажу, Адам: без таких, как он, все наши стены и машины — груды железа. Он умер, закрыв тебя. Это хорошая смерть для человека его дела. Он бы одобрил. — Рейнар помолчал. — Он ведь как говорил? Разведчик, о смерти которого написали в донесении, — плохой разведчик. Хороший умирает так, что об этом знают трое. — Он горько усмехнулся. — Вот и будем знать трое: ты, я да Кассия. Он бы оценил.

— Тот, кто отдал приказ, был здесь, — сказал я. — В Грейфолле. Человек в капюшоне, дорожный, с рукой у сердца. Тот же, что стоял у дыры. Одо видел его перед смертью — он приезжал к Магнусу.

Рейнар долго молчал.

— Значит, не побоялся приехать сам, — сказал он наконец. — В город, набитый моими солдатами. Отдать приказ убить тебя — и уйти. — Что-то холодное поднялось за его глазами, тот солдатский гнев, что страшнее крика. — Он ходил по улицам, которые я стерегу, Адам. Верхушка Ордена. Тот, кого мы ищем. Ходил и распоряжался смертями у меня под носом. — Он встал. — Королю я отпишу нынче же — пусть знает, что их главный не отсиживается в норе, а ездит сам. А этому — не сойдёт. Не знаю когда, не знаю как. Но за Одо взыщу отдельно, и это я тебе обещаю не как командир, а как человек.

Он ушёл готовить оборону и писать королю, а я остался сидеть в пустой комнате до света, думая об одном тихом человеке, который всё это время держал вокруг меня невидимый щит и умер, закрыв меня собой в последний раз, — за три дня до того, как щит стал не нужен.

* * *

Кассия нашла меня утром — ей уже сказали. Она не стала говорить пустых слов, за которые я был ей благодарен. Она просто села рядом, взяла мою руку и сидела так, молча, долго.

— Он не дал им закрыть их окно, — сказала она наконец. — Понимаешь, Адам? Они всё рассчитали правильно. Убить тебя здесь, до похода, — это был их единственный ход, и хороший ход. Он бы сработал. Игла в шею в сумерках — и всё, нет спасителя мира, и Орден спасён. Он бы сработал, если бы не Одо. Твой тихий человек переиграл всю их верхушку в

одиночку. Ценой жизни — но переиграл. Ты жив. Ты спустишься. Ты дойдёшь. И всё это — потому что он вышел из тени на секунду раньше, чем они успели.

— Я знаю, — сказал я. — Мне от этого не легче.

— И не должно быть легче, — сказала Кассия. — Легче не будет. Но ты запомни это правильно, Адам. Не «из-за меня погиб человек» — этим ты его смерть обесценишь. А «человек отдал жизнь, чтобы я дошёл». Это разные вещи. Первое — вина. Второе — долг. Вина тянет вниз. Долг ведёт вперёд. Возьми долг. Дойди. Тогда его смерть будет не зря.

Она была права, как бывала права всегда в самом главном. Я взял долг. Другого способа почтить Одо не было — только дойти, только сделать то, ради чего он лёг между мной и отравленной иглой.

Война перестала быть тенью. Она стала открытой, и первую кровь в ней пролил не я и не Орден — первую кровь заплатил тихий человек, о смерти которого будут знать трое, как он и хотел.

Счёт был открыт. И открыт он был кровью.

Через три дня мы с Кассией уходили в Предел. Я больше не мог ждать ни дня — не из страха, а потому, что каждый день, что я оставался здесь, был днём, когда за мной могли прийти снова, и в следующий раз рядом могло не оказаться Одо.

Пора было выходить. Там, в живом мире, за меня уже умирали. Значит, я должен был дойти.

Глава 11. Отпустить

Одо похоронили на третий день — тихо, без речей, как он бы и хотел. Провожали трое: я, Кассия и Рейнар. Король был за семьсот вёрст и узнал о смерти своего врага и моего человека из письма; он ответил коротко, в двух строках, и в этих двух строках было больше, чем в иных надгробных речах. Мы засыпали могилу сами, своими руками, на маленьком грейфолльском кладбище за южной стеной, и ушли, не оглядываясь, потому что оглядываться Одо не любил.

А наутро война напомнила о себе — уже не тайной иглой из-за угла, а прямо, в лоб, как она умеет.

Пришёл второй гонец от Эрвейна.

* * *

Первый — тот, что заставил Рейнара выбрать, — сообщал, что Орден снова открывает дыры и наводит тварей на фронтир, как в прошлую осаду. Второй уточнял: сколько, откуда, как скоро.

Много. Со всех сторон юга. И скоро.

Эрвейн, оставшийся в столице вести тайную войну, писал сухо, по-счётководски, и от этой сухости мороз шёл по коже сильнее, чем от любых страшных слов. Орден вскрыл дыры — столько-то, на таких-то тропах. На тварях, вышедших из них, находили метку — ту самую черту в кольце, которой Орден клеймит своё живое оружие. Числа Эрвейн не брался назвать: не сотни — тысячи, и по вытоптаным полосам, по брошенным деревьям, по тому, каким широким фронтом идёт беда, видно было одно — это не случайный выход тварей, это направленный удар. Кто-то сел и рассчитал: сколько согнать, откуда, куда. И всё это стягивалось к одной точке, и точкой был Грейфолл.

«По моему расчёту, — писал Эрвейн, — первые их отряды выйдут к вашим южным подступам через три-четыре недели. Основные силы — через пять-шесть. Точнее не скажу: твари идут не одной колонной, а сходятся, как сходится вода в воронке, — Орден гонит их отовсюду разом. Но сойдутся они к вам. Готовьте город. И готовьте его быстро, граф, потому что второй раз Грейфолл такой осады может не пережить».

Я читал это на стене, на той самой южной стене, которую мы поднимали в мою последнюю здесь зиму, — и смотрел на юг, туда, откуда должна была прийти вся эта сила. Пока там было пусто. Рыжие холмы, тракт, уходящий за край, высокое чистое небо. Но я уже видел то, чего ещё не было: пыль по всему горизонту, чёрные муравьиные колонны, катящиеся к моим стенам.

У меня оставалось три-четыре недели. И один-единственный день до того, как я уйду в Предел и оставлю эту оборону чужим рукам.

Один день, чтобы дать Грейфоллу всё, что я могу дать.

* * *

Тамм ждал меня в мастерской при станции — знал, что приду, и уже разложил на верстаке то, ради чего стоило прийти.

Чертежи.

Не новые — старые, мои, ещё с первой осады, потёртые на сгибах, с пятнами масла и подпалинами по краю: они пережили пожар, эти листы, их вынесли из огня вместе с обожжённым Таммом. Я узнал свою руку — торопливую, корявую, какой я чертил в первую осаду, когда весь Грейфолл считал меня спятившим, а я ночами рисовал машины, которых этот мир не видел.

— Твои, — сказал Тамм, кивнув на чертежи. — Признаёшь руку?

— Признаю, — сказал я.

Как не признать. Это я чертил их в первую осаду, один, когда весь Грейфолл считал меня спятившим. Три баллисты, которые в ту ночь вместе с камнемётом били в одну точку

и проломили Ордену хребет, когда всё уже казалось потерянным. Тебя, Тамм, тогда ещё и в помине здесь не было — ты сидел в своей столичной академии и знать не знал про фронтир. Город тогда спасли не чудо и не ты — город спасли воронка, смола и вот эти корявые листы, ставшие железом. Я был головой, которая это придумала, и руками, которые слепили — как умели, на коленке.

— На коленке и лепил, сразу видно, — проворчал Тамм, водя пальцем по чертежу с бесцеремонностью мастера, разбирающего чужую работу. — Гляди сюда. Вот тут рама. Ты её свёл в одном узле — красиво, быстро, а под нагрузкой она в этом узле и лопнет, к третьему-четвёртому выстрелу. Спорим, лопалась?

— Лопалась, — сказал я. Одна и вправду села на третьей ночи той осады — хорошо, к тому времени уже отбились.

— То-то. — Он выпрямился, и в здоровой половине лица было то азартное, злое торжество мастера, которое я так в нём любил. — Когда мы с тобой потом, в столице, третью машину доводили, я эту твою раму разглядел и с тех пор в голове держал: как надо было. И теперь знаю. Ты придумал, граф, — голова твоя, спору нет. Но лепил ты их наспех и криво. А я слепою как следует. Не коленочных уродцев. **Зверей.**

* * *

Он и сделал.

Те три старые машины, что пережили осаду, стояли всё это время в дальнем сарае за станцией, разобранные, ждущие своего часа. Тамм их вытащил, перебрал до последнего болта, заменил всё, что продумал наново с тех пор, как мы вместе довели третью, — усилил рамы, переделал спусковой механизм, поставил на паровой взвод вместо воротов, чтобы не десять человек крутили, обливаясь потом, а один поворачивал рычаг. Три старых машины стали втрое злее прежних.

А рядом росли новые.

Всё то время, что я готовился к походу, вскрывал Орден, хоронил Одо, — всё это время подмастерья Тамма, приехавшие с ним из столицы, днём и ночью собирали в станционных сараях ещё машины, по тем же улучшенным чертежам. Работали в три смены, при факелах, под навесами, не останавливаясь. Тамм гонял их, ругался, переделывал, не давал спать — и себе не давал.

К моему последнему дню готовы были **шесть**.

Три перебранных и три новых — шесть осадных машин, каких этот мир не видел даже в прошлую осаду. Седьмая стояла тут же, в сарае, недоделанная: не хватило времени, не хватило рук, не хватило нескольких дней, которых у нас не было. Тамм смотрел на неё с досадой человека, который не терпит незаконченного.

— Доделаем, — сказал я. — Пока ты жив и пока стоит станция — доделаете и седьмую, и восьмую. Шести пока хватит. Шесть — это вдвое больше, чем спасло город в прошлый раз.

— Вдвое больше и втрое злее, — поправил Тамм. — Не хвастаю, граф. Считаю. Каждая из этих шести стоит двух тех. Так что считай — на круг у Рейнара под стеной будет сила двенадцати прежних машин. — Он помолчал. — Если он ими сумеет распорядиться.

— Сумеет, — сказал я. — Он умеет считать людей, а машины считать я его научу за оставшийся день.

* * *

Оставшийся день я и потратил на это.

Мы втроём — я, Тамм и Рейнар — обошли всё. Я показал Рейнару машины: как бьют, на сколько, чем заряжать, где слабина. Показал старые места прошлой осады — где стояла воронка, куда лили смолу, откуда тварьё лезло в прошлый раз и полезет, вернее всего, снова: гонимая орда прёт не куда попало, а по низинам, по руслам, по проторенному, как всякая вода

и всякое зверьё. Тамм давал по каждой машине наставление своим подмастерьям, которых оставлял при них: он-то сам оставался в Грейфолле, машины без мастера — железный лом.

Рейнар слушал, смотрел, запоминал, задавал короткие точные вопросы командира, которому не картинка нужна, а то, что он завтра пустит в дело. Я смотрел на него — на Светлого Клинка, ставшего командующим, — и думал, что оставляю город в верных руках. Он не подведёт. Он скорее ляжет под этой стеной весь, со всем войском, чем пустит Орден в город, за которым — школа Кассии, могила Одо, груша под моим окном и весь тот фронтир, что я поднимал три года.

Под вечер, когда мы стояли у крайней машины и заходящее солнце золотило её медный бок, меня и накрыло — то, что копилось весь этот день и чего я себе не позволял.

— Рейнар, — сказал я. — А если я останусь?

Он посмотрел на меня.

— На осаду, — сказал я, и, сказав вслух, уже не мог остановиться. — Ещё три недели, четыре. Отбить Орден вместе, как в тот раз, — а потом уйти. Я эти стены поднимал. Эти машины — мои. Этот город — мой, Рейнар, я вышел к нему из леса, меня тут Бренна первым куском накормила. И я его брошу? Уйду, а вы тут будете умирать под моей же стеной, моим же железом отбиваясь, — без меня? Как я потом с этим... — Я не договорил.

Рейнар слушал молча. А когда я кончил, сказал — не сразу, тяжело, глядя мне в глаза:

— Договорил? Теперь слушай меня. — Голос у него был ровный, командирский, тот, которого я у него раньше не знал. — Ты сейчас говоришь не как граф и не как голова. Ты говоришь как мальчишка, которому стыдно уходить, когда друзья остаются драться. Я это понимаю. Я бы то же самое чувствовал. Но ты подумай башкой, которой придумал всё это железо. Зачем Орден гонит на Грейфолл всю эту нечисть?

Я молчал.

— Затем, чтобы ты остался, — сказал Рейнар. — Вот зачем. Им не город нужен. Им нужен ты — прикованный к этой стене, пока их семя пьёт мир дальше. Они тебя сюда привязывают, Адам. И если ты останешься — они уже выиграли, даже если мы отобьёмся. Даже если мы всех их положим под рвом. Потому что ты не дошёл до семени, а мир всё это время умирал. — Он качнул головой. — Ты останешься на осаду — спасёшь один город. Ты уйдёшь в Предел и дойдёшь — спасёшь все города разом. И этот тоже. Что выберешь, голова?

Я не ответил. Ответить было нечего — он был прав, и я знал, что он прав, ещё до того, как спросил.

— Твоё дело не здесь, — сказал Рейнар мягче. — Здесь — моё. Я для того и пришёл, помнишь? Год назад ты меня не отпускал с собой — теперь я тебя не пускаю остаться. Мы квиты. Иди в свою мёртвую землю и сделай то, что можешь только ты. А стену оставь тому, кто умеет её держать. Это тоже я.

Вечером я сказал об этом Кассии — что рвался остаться и что Рейнар меня развернул. Она выслушала, не поднимая глаз от клинка, который точила.

— Правильно развернул, — сказала она только. — Я бы жёстче. — И, помолчав: — Но то, что рвался, — хорошо. Значит, ты ещё ты. Тот, кто ушёл бы легко, был бы уже не совсем человек. — Она провела оселком по лезвию. — Держись за это, Адам. За то, что уходить больно. Там, куда идём, это тебе пригодится.

* * *

А вечером пришло ещё одно письмо от Эрвейна — не то, служебное, про орду, а другое, запечатанное особо, для меня одного.

В нём была охота.

Пока я готовил Грейфолл к обороне, Эрвейн в столице делал то, что умел лучше всех после Одо, — тянул нить. И он писал мне то, что успел нащупать, зная, что, может статься, это последнее, что он успеет мне сказать перед моим уходом.

«Магнуса я не трогаю, — писал Эрвейн. — Вы были правы: рука ничего не стоит, пока не приведёт к тому, кто ею движет. Я смотрю. И вот что вижу, граф, — пока не утверждаю, но вижу.

Магнус после провала испугался. Сильно. Он ждал, что за неудачу с вами с него спросят, и спросят страшно, — и он заметался. А заметавшись, выдал себя одним: я узнал, куда он ходит, когда ему страшно. Не к покровителю во дворец. Не в тайный дом. В церковь. В храм на дальнем конце столицы, не в свой приход, — входит с заднего двора, пробыв недолго, выходит успокоенным. Как человек, получивший не отпущение, а указание.

Я пока ничего не утверждаю. Может, он ездит к простому духовнику лить слёзы. А может — к тому, кому служит. Но задумайтесь вот над чем, граф, я эту мысль думаю уже которую ночь. Ваш капюшон — тот, что ездит по стране с водой у сердца, — не голова. Голова не ездит. Голова сидит на одном месте, надёжном, неприкосновенном, и оттуда правит. А что в этом королевстве неприкосновеннее храма? Церкви не обыскивают. Служителей не бросают в подвал. Идеальное место, чтобы веками сидеть той голове, которая никуда не ездит.

Вы искали её среди тех, у кого власть, — знать, казна, купцы. А она, похоже, сидит там, где власти нет по видимости, зато есть над душами. За верой, граф. Если я прав — а я ещё не говорю, что прав, — то Орден веками прятал свою голову за самым неприкосновенным, что есть в королевстве.

Я буду смотреть дальше. Терпеливо. И когда буду знать — сообщу королю, а вас, боюсь, уже будет не достать. Так что унесите это с собой, в мёртвую землю, как единственное, что я успел вам дать: ищите не дворец. Ищите храм».

Я дочитал, сложил письмо и долго сидел в темноте.

Церковь. Голова, которая не ездит. Я год тянул эту нить — и вот, уходя, отдавал её другому, так и не увидев, куда она приведёт. Может, Эрвейн прав. Может, нет. Я уже не узнаю — по крайней мере, здесь, в этом мире. Я уходил, оставляя загадку нерешённой, войну недоведённой, счёт за Одо неоплаченным.

Урок отпускания, подумал я. Этот мир напоследок учил меня отдавать.

* * *

Уходили мы на рассвете.

Не переносом — переносом попадали только в Колодец, а мы шли не в Колодец. Мы выходили из южных ворот Грейфолла, пешими, в мёртвую землю, на восток, — как выходит любой, кому нужно попасть туда, куда не ведёт ни один камень переноса.

У ворот собрались проводить. Тамм с половиной лица. Финн и мальчишки из Кассииной песочницы — Кассия отдала школу ему при всех, коротко, без слёз: «Теперь твоя. Не урони». Бренна, сунувшая нам в дорогу хлеба, будто мы шли за реку, а не за край мира. Рейнар — командующий, которому через недели держать здесь осаду, а сейчас просто друг, провожающий друга.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.